

Н. С. ЛЕСКОВ

Запечатленный Ангел

Б а й р о й т

Н. С. ЛЕСКОВ

ЗАПЕЧАТЛЕННЫЙ
АНГЕЛ

БАЙРОИТ

Druck: Lorenz Ellwanger, Bayreuth

ПРЕДИСЛОВИЕ

Среди многочисленных произведений Николая Семеновича Лескова (1821—1895 г. г.), «Запечатленный ангел», считается одним из наиболее ярких и характерных рассказов. К сожалению, не все в достаточной степени понимают Н. С. Лескова. Более того, современные россияне, весьма слабо знают этого замечательного писателя и не вполне правильно оценивают его творчество. А знать и понимать Лескова, в переживаемое нами время, более чем необходимо!

Н. С. Лесков — глубоко народный писатель. Мы употребляем этот термин в том смысле, что все его творчество зиждется, как на прекрасном практическом знании повседневной жизни самых разнообразных слоев народа, так и на отличном понимании народной души — его психологии, веры, упований, стремлений, надежд ... Лесков замечателен тем, что он раскрывает перед нами душу русского человека с такой правдивостью, глубиной, тонкостью, какой достигали лишь лучшие первоклассные художники слова. Говоря это, мы должны будем одновременно подчеркнуть, что, в истории российской литературы, своеобразие художественного творчества Лескова, остается несравнимым, с другими литературными образцами.

И как в «Запечатленном ангеле», так и в других произведениях, перед нами проходят «герои» Н. С. Лескова, принадлежащие к разным общественным слоям; но больше всего мы видим в его произведениях представителей подлинного народа, составляющего душу каждой нации. Перед нами проходит народная жизнь в ее положительных и отрицательных проявлениях.

Н. С. Лесков бесконечно любит свой народ, свою страну, он твердо верит в их особую роль в будущих исторических судьбах человечества.

Но любя свою родину, веря в Россию, Лесков приемлет ее как Святую Русь, Русь православную, а наш народ, как народ необычайно религиозно — одаренный, проникнутый до конца евангельским духом, с наибольшей полнотой, осуществляющий в жизни заветы Спасителя. Эти черты и являются основой для

утверждения его особых исторических путей. Н. С. Лесков видит в Православии ту великую силу, тот духовный оплот, на котором развивается и крепнет народный дух.

Подобно тому как виноградные ветви, произрастая на лозе и питаясь от нее, дают плод свой, подобно этому душа русского народа, прилепившись к вере Православной, дает наиболее совершенный плод своего духовного развития. И писатель ярко показывает это во всех своих произведениях.

Но духовный рост народа в целом и его отдельных представителей неизбежно наталкивается на тяжелые жизненные испытания, преодолевая которые он полнее и совершеннее начинает понимать те идеалы, которым служит. Таков путь, такова судьба всех искателей Правды, всех стремящихся к Истине. В «Запечатленном ангеле», Н. С. Лесков, с удивительной простотой и искренностью показывает нам этих простых искателей Истины — рабочую артель староверов, идущую своим путем с горячей верой в правоту своих взглядов. Положив в основу своего рассказа подлинную быль, Н. С. Лесков, с необычайным тактом подводит этих людей к пониманию Промысла Божия, к осознанию Истины, которую они находят в Российской Православной Церкви. Но этот шаг в развитии их духовного самосознания совершается не сразу, а открывается среди испытаний постигших их, открывается в их упорном искании и служении Правде Божией. Этот путь исканий проходит через «запечатление» их ангела, через страшное напряжение всех усилий в конце рассказа. И в этом месте «Запечатленного ангела» необычайно ярко виден Перст Божий, руководящий человеком в его земном бытии.

В конце рассказа мы видим, как совершается явное чудо. Но как своеобразно показывает его нам Лесков. Он подводит к нему читателя так последовательно, у него все так «естественно» совершается, что «распечатление» ангела и сопровождающие его события, для многих людей, видящих только внешнее, могут казаться лишь совпадением обстоятельств. Но для тех, кто в «естественном» ходе событий, в сочетании удивительных обстоятельств, видит совершение Воли Божией, кто подобно Марою видит чудесный переход с иконой Ангела через мост, тому понятен и финал, выразившийся в святительской мудрости иерарха Православной Церкви. И в свете всего сказанного становится понятным замечание лица, от имени которого ведется рассказ, о том, «что ангельский путь не всякому зрим и об этом только настоящим практик может получить понятие».

Но было бы совершенно неправильным говорить только об идейной сущности произведений Н. С. Лескова и совершенно забыть о других их особенностях и, в частности, о их языке.

Н. С. Лескова отличается тем, что он впитал в себя все лучшее из многовекового народного творчества в этой области. Он богат интереснейшими народными выражениями, эпитетами, сравнениями, отличающимися своеобразием и, вместе с тем, необычайной простотой: погода у него «самая немилостивая», хозяйство «стародавнее», искусство «предивное», ангельский лик «светло-божественный» и «скоропомощный», дебри «бесследные», немощи «непереносные», тулуп «обширный». Такие необычайные с нашей точки зрения слова, как «рукомесло» (в смысле ремесла) «изошли» (в смысле прошли), «преизящество», «извитие слов» (в смысле витиеватости), «средовек» (человек средних лет), «любосластец», «суеречить» (суесловить), «дивеса» (в смысле — чудесные явления), «ленивый нетяг» (в смысле бездельник) «выс-ловил» (в смысле — сказал, высказал), «оттолкновенный», «диво-зрители», «дерзый», «отчинил» (открыл) — по сути дела являются чисто народным творчеством, очень тонко выражающим действительное их значение и уходящим своими корнями в наше далекое прошлое. Язык «Запечатленного ангела», и почти всех других его произведений — специальная тема для будущих исследователей творчества Н. С. Лескова.

И читая сегодня «Запечатленного ангела», оценивая талант его автора, мы невольно проведем параллели с судьбами нашей «запечатленной» родины и увидим в ее историческом пути осуществление совершающейся нелицемерной Правды Божией.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дело было о святках, накануне Васильева вечера. Погода разгулялась самая немилостивая. Жесточайшая поземная пурга, из тех, какими бывают славны зимы на степном заволжье, загнала множество людей в одинокий постоялый двор, стоящий бобылем среди гладкой и необозримой степи. Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские и мордва, и чуваша. Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно: куда ни повернись, везде теснота, одни сушатся, другие греются, третьи ищут хотя маленького местечка, где бы приютиться; по темной, низкой, переполненной народом избе, стоит духота и густой пар от мокрого платья. Свободного места нигде не видно: на полотах, на печке, на лавках и даже на грязном земляном полу, везде лежат люди. Хозяин, суровый мужик, не рад был ни гостям, ни наживе. Серdito захлопнув ворота за последними, добившимися на двор саями, на которых приехали два купца, он запер двор на замок и, повесив ключ под божницею, твердо молвил:

— Ну, теперь кто хочешь, хоть головой в ворота бейся, не отворю.

Но едва он успел это выговорить и, сняв с себя обширный овчинный тулуп, перекрестился древним большим крестом и приготовился лезть на жаркую печку, как кто-то робкою рукой застучал в стекло.

— Ктотам? — окликнул громким и недовольным голосом хозяин.

— Мы, — ответили из-за окна.

— Ну-у, а чего еще надо?

— Пусти, Христа ради, сбились ... обмерзли.

— А много ли вас?

— Не много, не много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро, — говорил за окном, заикаясь и щелкая зубами, очевидно, совсем презабывший человек.

— Некуда мне вас пустить, вся изба и так народом укладена.

— Пусти хоть малость обогреться!

— А кто же вы такие?

— Извозчики.

— Порожнем или с возами?

— С возами, родной, шкурье везем.

— Шкурье! Шкурье везете, да в избу ночевать проситесь. Ну, люди на Руси настают! Пошли прочь!

— А что же им делать? — спросил проезжий, лежавший под медвежьей шубой на верхней лавке.

— Валишь шкурье, да спать под ним, вот что им делать, — ответил хозяин и, ругнув еще хорошенько извозчиков, лег неподвижно на печь.

Проезжий из-под медвежьей шубы в тоне весьма энергического протеста выговаривал хозяину на жестокость, но тот не удостоил его замечания ни малейшим ответом. Зато вместо его откликнулся из дальнего угла небольшой рыженький человечек, с острою, клином бородкой.

— Не осуждайте, милостивый государь, хозяина, — заговорил он: — он это с практики берет и внушает правильно, — со шкурьем безопасно.

— Да? — отозвался вопросительно проезжий из-под медвежьей шубы.

— Совершенно безопасно-с, и для них это лучше, что он их не пускает.

— Это почему?

— А потому, что они теперь из этого полезную практику для себя получили, а между тем, если еще кто беспомощный добьется сюда, ему местечкс будет.

— А кого еще понесет чорт? — молвила шуба.

— А ты слушай, — отозвался хозяин: — ты не болтай пустых слов. Разве супостат может сюда кого-нибудь прислать, где этакая святыня? Разве ты не видишь, что тут и Спасова икона, и Богородичный лик.

— Это верно, — поддержал рыженький человек. — Всякого спасенного человека не ефиоп ведет, а ангел руководствует.

— А вот я этого не видал, и как мне здесь очень скверно, то и не хочу верить, что меня сюда завел мой ангел, — отвечала словоохотливая шуба.

Хозяин только сердито сплюнул, а рыжачок добродушно молвил, что ангельский путь не всякому зрим и об этом только настоящий практик может получить понятие.

— Вы об этом говорите так, как будто сами вы имели такую практику, — проговорила шуба.

— Да-с, ее и имел.

— Что же это: вы видели, что ли, ангела, и он вас водил?

— Да-с, я его и видел, и он меня руководствовал.

— Что вы шутите или смеетесь?

— Боже меня сохрани таким делом шутить?

— Так что же вы такое именно видели: как вам ангел являлся?

— Это, милостивый государь, целая большая история.

— А знаете ли, что тут уснуть решительно невозможно, и вы бы отлично сделали, если бы теперь рассказали нам эту историю.

— Извольте-с.

— Так рассказывайте, пожалуйста: мы вас слушаем. Но только что же вам там на коленях стоять, вы идите сюда к нам, авось как-нибудь потеснимся и усядемся вместе.

— Нет-с, на этом благодарю-с! Зачем вас стеснять, да и к тому же повесть, которую я пред вами поведаю, пристойнее на коленях стоя рассказывать, потому что это дело весьма священное и даже страшное.

— Ну, как хотите, только скорее рассказывайте, как вы могли видеть ангела и что он вам сделал.

— Извольте-с, я начинаю.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Я, как несомненно можете по мне видеть, человек совсем незначительный, я более ничего как мужик, и воспитание свое получил по состоянию, самое деревенское. Я не здешний, а дальний, рукоеслом я каменщик, а рожден в старой русской вере. По сиротству моему я сызмальства пошел со своими земляками в отходные работы и работал в разных местах, но все при одной артели, у нашего же крестьянина, Луки Кирилова. Этот Лука Кирилов жив по сии дни: он у нас самый первый рядчик. Хозяйство у него стародавнее, еще от отцов заведено, и он его не расточил, а преумножил и создал себе житницу велику и обильну, но был и есть человек прекрасный и не обидчик. И уж зато куда-куда мы с ним ни ходили? Кажется, всю Россию изошли, и нигде я лучше и степеннее его, хозяина не видал. И жили мы при нем в самой тихой патриархии, он у нас был и рядчик, и по промыслу и по вере наставник. Путь свой на работах мы проходили с ним точно иудеи в своих странствиях пустынных с Моисеем, даже скинию свою при себе имели и никогда с нею не расставались: то-есть имели при себе свое «Божие благословение». Лука Кирилов страстно любил иконописную святыню, и были у него, милостивые государи, иконы все самые пречудные, письма самого искусного, древнего, либо

настоящего греческого, либо первых новгородских или строгановских изографов. Икона против иконы лучше сияли не столько окладами, как острою и плавностью предивного художества. Такой возвышенности я уже после нигде не видел!

И что были за во-имя разные и Деисусы, и Нерукотворенный Спас с омоченными власы, и преподобные, и мученики, и апостолы, а всего дивнее многоличные иконы с деяниями, каковые, например, Индикт: праздники, Страшный Суд, Святцы, Соборы, Отечество, Шестоднев, Целебник, Седьмица с предстоящими, Троица с Авраамлиим поклонением у дуба мамврийского, и, одним словом, всего этого благолепия не изреци, и таких икон нынче уже нигде не напишут, ни в Москве, ни в Петербурге, ни в Палихове; а о Греции и говорить нечего, так как там эта наука давно затеряна. Любили мы все эту свою святыню страстною любовью и сообща перед нею святой елей теплили, и на артельный счет лошадь содержали и особую повозку, на которой везли это Божие благословение в двух больших коробьях всюду, куда сами шли. Особенно же были при нас две иконы, одна с греческих переводов старых московских царских мастеров: Пресвятая Владычица в саду молится, а перед Ней все деревья кипарисы и олинфы до земли преклоняются; а другая Ангел Хранитель, Строганова дела. Изреци нельзя, что это было за искусство в сих обеих святынях! Глянешь на Владычицу, как перед ее чистотою бездушные деревья преклонились, сердце тает и трепещет; глянешь на Ангела ... радость! Сей ангел воистину был что-то неопишемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светлбожественный и этакий скорбпомощный: взор умилен; ушки с тороцами, в знак всеобщего отсюду слышания; одеянье горит, рясны златыми преиспещрено; доспех пернат, рамена препоясаны; на персях младенческий лик Эмануилев; в правой руке крест, в левой огнепалый меч. Дивно! Дивно! ... Власы на головке кудреваты и русы, с ушей повились и проведены волосок к волоску иголкой. Крылья же пространны и белы как снег, а испод лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к усика. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется; молишься: «осени», и сейчас весь стишаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона! И были-с эти два образа для нас все равно, что для жидов их Святая Святых, чудным Веселиила художеством изукрашенная. Все те иконы, о которых я вперед сказал, мы в особой коробье на коне возили, а эти две даже и на воз не поставляли, а носили: Владычипу завсегда при себе Луки Кирилова хозяйка Михайлица, а Ангелово изображение сам Лука на своей груди сохранял. Был у него такой для сей иконы сделан парчевой кошель на темной

пестряди и с пуговицей, а на передней стороне алый крест из настоящего штофу, а сверху пришит толстый зеленый шелковый шнур, чтобы вокруг шеи обвесь. И так икона в сем содержании у Луки на груди всюду, куда мы шли, впереди нас предходила, точно сам Ангел нам предшествовал. Идем, бывало, с места на место, на новую работу степями, Лука Кирилов впереди всех нарезным сажнем вместо палочки помахивает, за ним на возу Михайлица с Богородичною иконой, а за ними мы все артелью выступаем, а тут в поле травы, цветы по лугам, инде стада пасутся и свирец на свирели играет ... то-есть просто сердцу и уму восхищение! Все шло нам прекрасно и дивная была нам в каждом деле удача: работы всегда находились хорошие; промежду собою у нас было согласие; от домашних приходили все вести спокойные: и за все это благословляли мы предходящего нам Ангела, и с пречудною его иконою, кажется, труднее бы чем с жизнью своею не могли расстаться.

Да и можно ли было думать, что мы как-нибудь, по какому ни есть случаю, сей нашей драгоценнейшей самой святыни лишимся? А между тем, такое горе нас ожидало и устроилось нам, как мы только уразумели, не людским коварством, а самого одного Путеводителя нашего смотрением. Сам он возжелал себе оскорбления, дабы дать нам свято постичь скорбь и тою указать нам истинный путь, перед которым все до сего часа исхоженные нами пути были, что дебрь темная и бесследная. Но позвольте узнать, занята ли моя повесть и не напрасно ли я ею ваше внимание утруждаю?

— Нет: как же, как же: сделайте милость продолжайте! — воскликнули мы, заинтересованные этим рассказом.

— Извольте-с, послушествовую вам и, как сумею, начну излагать бывшие с нами дивные дивеса от Ангела.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде, на Днепре реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом, и об'явился пред нами весь чудный пейзаж: древние храмы, монастыри святыя со многими святых мощами: сады густые и деревья таковые как по старым книгам в заставках пишутся, то-есть островерхие тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце

словно кто щипать станет, так прекрасно! Знаете, конечно, мы люди простые, но преизящество богозданной природы все же ощущаем.

И вот-с это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый в первый день начали тут постройку себе временного жилища, сначала забили высокенькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды, потом на тех сваях стали собирать горницу и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо, по отеческому закону: в протяженность одной стены складной иконостас раскинули в три пояса, первый поклонный для больших икон, а выше два тябла для меньшеньких, и так возвели как должно лестницу до самого распятия, а Ангела на аналогии положили, на котором Лука Кирилов Писание читал. Сам же Лука Кирилов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казаромку сгородили. На нас гляючи, то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать, и вот стал у нас против великого основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо! Деньги за расчет у англичан в конторе верные; здоровье Бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было, а Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота: нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа; никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует . . . Вволю молились: отработаем свои часы и соберемся в горницу, а тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кирилов положит благословящий начал; а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходила и нравилась не только одним простым людям, которые к богочтителству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало станут у нас под окнами и слушают и молиться начнут. Мы им этого снаружи не возбраняли: всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот, бывало, даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше глосование замечать и потом, бывало, ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде

гудет: «Бо-Господь и явился нам», но только все это у него, разумеется, выходило на другой штыль, потому что этого пения, расположенного по крюкам, новою западною нотою в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас Господень Ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пейзаж природы.

И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко три года. Спорилось нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфеева рога, как вдруг узрели мы, что есть среди нас два сосуда избрания Божия к нашему наказанию. Один из таковых был ковач Марой, а другой — счетчик Пимен Иванов. Марой был совсем простец, даже неграмотный, что по старообрядчеству даже редкость, но он был человек особенный: видом неуклюж, на подобие верблюда, и недрист как кабан — одна пазуха в полтора обхвата, а лоб весь заросший крутою космой и точно мраволев старый, а середь головы на маковке гуменцо простригал. Речь он имел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только все, бывало, одно какое-нибудь слово твердисловит, но был на предбудущее прозорлив и имел дар вещевать и мог сбивчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек цаповатый: любил держать себя очень форсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи; но зато характер имел легкий и увлекательный. Марой был пожилой человек, за семьдесят лет, а Пимен средовек и изящен: имел волосы курчавые, посредине пробор; брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, велиар. Вот в сих двух сосудах и забродила вдруг оцетность терпкого питья, которое надлежало нам испить.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мост, который мы строили на восьми гранитных быках, уже выско над водой возрос, и в лето четвертого года мы стали на те столбы железные цепи складывать. Только тут было вышла маленькая задержка: стали мы разбирать эти звенья и пригонять по меркам к каждой лунке стальные заклепы, как оказалось, что многие болты длинны, и отсекал их надо, а каждый

тот болт, — по-аглицки штанга стальная, и деланы они все в Англии, — отлит из крепчайшей стали и толщины в руку рослого человека. Нагревать этих болтов было нельзя, потому что тем сталь отпускается, а пилить ее никакой инструмент не брал: но на все это наш Марой ковач изымел вдруг такое средство, что облепит это место, где надо отсечь, густою коломошкой из тележного колеса с песковым жвиром, да и сунет всю эту штуку в снег, и еще вокруг солью осыпит, и вертит и крутит; а потом оттуда ее сразу выхватит, да на горячее ковало, и как треснет балдой, так как восковую свечу будто ножницами и отстрижет. Англичане все и немцы приходили на это хитрое Мароево умудрение смотрели, и глядят, глядят, да вдруг рассмеются и заговорят сначала промеж себя по-своему, а потом на нашем языке скажут:

— Так, русс! Твой молодец; твой корош физик понимай!

А какой там «физик» мог понимать Марой; он о науке никакого и понятия не имел, а произвел просто как его Господь умудрил. А наш Пимен Иванов и пошел об этом бахвалить. Значит и пошло в обе стороны худо: одни все причитали к науке, о которой тот наш Марой и помыслу не знал, а другие заговорили, что над нами-де видимая Божия благодать творит дивеса, каких мы никогда и не зрели. И эта последняя вещь была для нас горше первой. Я вам докладывал, что Пимен Иванов был слабый человек и любосластец, а теперь объясню, зачем мы его, однако, в своей артели содержали; он у нас ездил в город за провизией, закупал какие надо покупки; мы его посылали на почту паспорта и деньги ко дворам отправлять и назад новые паспорта он отбирал. Вообще, вот всю этакую справу чинил и, по правде сказать, был он нам человек в этом роде нужный и даже очень полезный. Настоящий степенный старовер, разумеется, всегда подобной суеты чуждается и от общения с чиновниками бежит, ибо от них мы, кроме досаждения, ничего не видели, но Пимен рад суете, и у него на том берегу в городе завелось самое изобильное знакомство: и торговцы, и господа, до которых ему по артельным делам бывали касательства, все его знали и почитали его, за первого у нас человека. Мы этому случаю, разумеется, посмеивались, а он страсть как был охочь с господами чай пить, да велеречить: те его нашим старшиною величают, а он улыбається, да по нутру свою бороду расстилает. Одним словом сказать, пустоша! И занесло этого нашего Пимена к одному немаловажному лицу, у которого была жена из наших мест родом, такая была тоже словесница и начиталась она про нас каких-то новых книг, в которых неизвестно нам, что про нас писано, и вдруг, не знаю с чего-то, ей пришло на ум, что она очень староверов любит. Вот ведь удивительное дело: к

чему она избралась сосудом! Ну, любит нас и любит, и всегда, как наш Пимен зачем к ее мужу придет, она его сейчас непременно сажает чай пить, а тот тому и рад, и разовьет перед ней свои свитки.

Та своим бабьим языком суеречит, что вы-де, староверцы, и такие-то и вот этикие-то, святые, праведные, присноблаженные, а наш велиар очи разоце раскосит, головушку на-бок, бороду маслит, а голосом сластит:

— Как же, государыня. Мы-де отеческий закон блюдем, мы и такие-то, мы и вот этикие-то правила содержим и друг у друга за чистотою обычая смотрим, и словом, говорит ей все такое, что совсем к разговору с мирскою женщиной не принадлежащее. А между тем та, представьте, интересуется.

— Я слыхала, — говорит, — что к вам Божие благословение видимо, — говорит, — проявляется,

А тот сейчас и подхватывает:

— Как, же — отвечает, — матушка, проявляется; весьма зримо проявляется.

— Видимо?

— Видимо, — говорит, — государыня, видимо. Вот еще на сих днях наш один человек могучую сталь как паутину щипал.

Барыня так и всплеснула ручонками.

— Ах, говорит, — как интересно! Ах, я ужасно люблю чудеса и верю в них! Знаете, — говорит, — прикажите вы, пожалуйста, своим староверам, чтоб они помолились, чтобы мне Бог дочь дал. У меня есть два сына, но мне непременно хочется одну дочь. Можно это?

— Можно-с, — отвечает Пимен, — отчего же-с; очень можно! Только, — говорит, — в таковых случаях надо всегда, чтоб от вас жертвенный елей теплился.

Та с великим своим удовольствием дает ему на масло десять рублей, а он деньги в карман и говорит:

— Хорошо-с, будьте благонадежны, я повелю.

Нам об этом Пимен, разумеется, ничего не рассказывает, а у барыни родится дочь.

Фу! та так и зашумела, еще после родов обмогнуться не успела, как зовет нашего пустошу и чествует его, словно бы он сам был тот чудотворец, а он и это приемлет. Вот ведь до чего осуетится человек и омрачает ум его, оледенеют чувства. Через год у госпожи опять до нашего Бога просьба, чтобы муж ей дачу на лето нанял, — опять все ей, по ее желанию, делается, а Пимену все на свечи да на елей жертвы, а он эти жертвы куда надо, на наш бок не переплавляя, пристраивает. И дивеса, действительно, делались непонятные: был у этой госпожи стар-

ший сын в училище и был он первый потаскун и ленивый нетяг, и ничему не учился, но как пришло дело к экзамену, она шлет за Пименом и дает ему заказ помолиться, чтоб ее сына в другой класс перевели. Пимен говорит:

— Дело трудное; надо мне будет всех своих на всю ночь на молитву согнать и до утра со свечами вопиять.

А та ни за что не стоит; тридцать рублей ему вручила, только молитесь! И что же вы думаете? Выходит такое счастье этому ее блудяге сыну, что переводят его в высший класс. Барыня мало от радости с ума не сошла, что за ласки такие наш Бог ей делает! Заказ за заказом стала давать Пимену, и он ей уже выхлопотал у Бога и здоровья, и наследство, и мужу чин большой, и орденов столько, что все на груди не вмещались, так один он в кармане, говорят, носил. Диво да и только, а мы все ничего не знаем. Но настал час всему этому обличиться и перемениться одним девисам на другие.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Замутилось что-то в одном жидовском городе той губернии по торговой части у жидов. Не скажу вам наверное, деньги ли они неправильные имели, или какой беспощинный торг производили, но только надо было это начальству раскрыть, а тут награда предвиделась велемощная. Вот барынька и шлет за нашим Пименом и говорит:

— Пимен Иванович, вот вам двадцать рублей на свечи и на масло; велите своим как можно усерднее молиться, чтобы в эту командировку моего мужа послали.

Тому какое горе! Он уже разохотился эту елейную подать-то собирать, и отвечает:

— Хорошо, государыня, я повелю.

— Да, чтоб они хорошенько, — говорит, — молились, потому мне это очень нужно!

— Смеют ли же они, государыня, у меня плохо молиться, когда я приказываю, — заспокоил ее Пимен: — я их голодом запоцую, пока не вымолют, — взял деньги да и был таков, а барину в ту же ночь желанное его супругою назначение сделано.

Ну, уже тут ей так от этой благодати в лоб вступило, что она недовольна сделалась нашей молитвой, а возжелала непременно сама нашей святыне пославословить.

Говорит она об этом Пимену, а он струсил, потому знал, что

наши ее до своей святыни не допустят; но барыня не отстаёт.

— Я, говорит, как вы хотите, сегодня же пред вечером возьму лодку и к вам с сыном приеду.

Пимен ее уговаривал, что лучше, говорит, мы сами помолит-вим; у нас есть такой Ангел-Хранитель, вы ему на елей пожертвуйте, а мы ему супруга вашего и доверим сохранять.

— Ах, прекрасно, — отвечает, — прекрасно; я очень рада, что есть такой Ангел; вот ему на масло, и зажгите пред ним непременно три лампы, а я приеду посмотреть.

Пимену плохо пристигло, он и пришел, да и ну нам винуватиться что так-де и так, я говорит, — ей, еллинке гадостной, не перечил, когда она желала, потому как муж ее нам человек нужный, и насказал нам с три короба, а всего, что он делал, все-таки не высловил. Ну, сколь нам было это ни неприятно, но делать было нечего; мы поскорее свои иконы со стен снимали, да попрятали в коробки, а из коробей кое-какие заменные заставки, что содержали страха ради чиновничьего нашествия, в тяблы поставили и ждем гостейку. Она и приехала; такая-то разфуфыренная, что страх; широкими да долгими своими ометами так и метет и все на те наши заменные образа в лорнетку смотрит и спрашивает: «скажите, пожалуйста, который же тут чудотворный Ангел?» Мы уже не знаем, как ее и отбить от такого разговора:

— У нас, — говорим, — такого Ангела нет.

И как она ни добивалась, и Пимену выговаривала, но мы ей Ангела не показали, и скорее ее чаем повели поить и какими имели закусками угощать.

Страшно она нам не понравилась, и Бог знает почему: вид у нее был какой-то оттолкновенный, даром, что она будто красивою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая, тоненькая, как сойга, и бровеносная.

— Вам этакая красота не нравится? — перебила рассказчика медвежья шуба.

— Помилуйте, да что же в змиевидности может нравиться? — отвечал он.

— У вас что же почитается красотой, чтобы женщина на кочку была похожа?

— Кочку! — повторил улынувшись и не обижаясь, рассказчик. — Для чего же вы так полагаете? У нас в русском настоящем понятии насчет женского сложения соблюдается свой тип, который по нашему гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не то, что кочка. Мы длинных цыбов точно не уважаем, а любим, чтобы женщина стояла не на долгих ножках, да на крепоньких, чтоб она не путалась, а как шарок всюду

каталась и попевала, а цыбастенькая побежит да спотыкнется. Змиевидная тонина у нас тоже не уважается, а требуется, чтобы женщина была из себя понедристее и с пазушкой, потому оно хотя это и не так фигурно, да зато материнство в ней обозначается. Лобочки в нашей настоящей чисто-русской женской породе хоть потельнее, помясистее, а зато в этом мягком лобочке веселости и привета больше. То же и насчет носика; у наших носики не горбылем, а все будто пипочкой, но этакая пипочка, она, как вам угодно, в семейном быту гораздо благоуветливее, чем сухой гордый нос. А особливо бровь; бровь в лице вид открывает, и потому надо, чтобы бровочки у женщины не супились, а были пооткрытее, дужкою, ибо к таковой женщине и заговорить человеку повадливее и совсем она иное на всякого, к дому располагающее впечатление имеет. Но нынешний вкус, разумеется, от этого доброго типа отстал и одобряет в женском поле воздушную эфемерность, но только это совершенно напрасно. Однако, позвольте, я вижу, мы уже не про то заговорили. Я лучше продолжать буду:

Наш Пимен, как суетившийся человек, видит, что мы, проводив гостью, стали на нее критику произносить, и говорит:

— Чего вы? Она добрая.

А мы отвечаем: какая, мол, она добрая, когда у нее добра в обличьи нет, но Бог там с нею: какая она есть, такая и будь, мы уже рады были, что ее выпроводили и взялись скорее лада-ном курить, чтобы ее и духом у нас не пахло.

После сего мы вывели от гостюшкиных следков горенку; заменные образа опять на их место за перегородку в коробыя уклали, а оттуда достали свои настоящие иконы; разместили их по тяблам, как было по старому, покропили их святой водой; положили начал и пошли каждый куда ему следовало на ночной покой, но только Бог весть, отчего и зачем всем что-то в ту ночь не спалось и было-как будто жутко и беспокойно.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утром пошли мы все на работу и делаем свое дело, а Луки Кирилова нет. Это, судя по его аккуратности, было удивительно, но еще удивительнее мне показалось, что приходит он часу в восьмом весь бледный и расстроенный.

Зная, что он человек с обладанием и пустым скорбям не любил поддаваться, я и обратил на это внимание и спрашиваю:

— Что такое: с тобою, Лука Кирилов?

А он говорит.

— После скажу.

Но я тогда, по молодости моей, страсть как был любопытен и к тому же у меня вдруг откуда-то взялось предчувствие, что это что-нибудь недоброе по вере; а я веру чтит и невером никогда не был.

А потому не мог я этого долго терпеть и под каким ни есть, предлогом покинул работу и побежал домой; думаю: пока никого дома нет, распытаю я что-нибудь у Михайлицы. Хоша ей Лука Кирилов и не открывался, но она его, при всей своей простоте, все-таки как-то проникала, а таиться от меня она не станет, потому что я был с детства сиротою и у них вместо сына возрос, и она мне была все равно как второродительница.

Вот-с я ударяюсь к ней, а она, гляжу, сидит на крылечке в старом шушуне на опашку, а сама вся как больная, печальная и этакая зеленеватая.

— Что вы, говорю, второродительница, на таком месте усевшись?

А она отвечает.

— А где же мне, Марочка, притулиться?

Меня зовут Марк Александров; но она, по своим материнским чувствам ко мне, Марочкой меня звала.

— Что это, думаю себе, она за пустяки такие мне говорит, что ей негде притулиться?

— А зачем же, говорю, вы в чуланчике у себя не ляжете?

— Нельзя — говорит, — Марочка, там в большой горнице дед Марой молится.

«Ага! вот, думаю, так и есть, что что-нибудь по вере случилось», а тетка Михайлица и начинает:

— Ты ведь, Марочка, небось ничего, дитя, не знаешь, что у нас тут в ночи случилось?

— Нет, мол, второродительница, не знаю.

— Ах, страсти!

— Расскажите же скорей, второродительница.

— Ах, не знаю как, можно ли это рассказать?

— Отчего же, говорю, не скажете; разве я вам какой чужой, а не вместо сына?

— Знаю, родной мой, — отвечает: — что ты мне вместо сына, ну, только я на себя не надеюсь, чтоб я могла тебе это как надо высловать, потому что глупа я и безталанна, а вот погоди — дядя после шабаша придет, он тебе небось все расскажет.

Но я никак не мог чтобы дожидаться, и пристал к ней: «скажи да скажи мне сейчас, в чем все происшествие.»

А она, гляжу, все моргает, моргает глазами и все у нее глаза

делаются полны слез и она их вдруг грудным платком обмахнула и тихо мне шепчет:

— У нас, дитя, сею ночью Ангел-Хранитель сошел.

Меня от всего этого открытия в трепет бросило.

— Говорите, прошу, скорее: как это диво сталося и кто были оногo дивозрители?

А она отвечает:

— Дивеса, дитя, были непостижные, а дивозрителей никого, кроме меня, не было, потому что случилось все это в самый глухой полунощный час, и одна я не спала.

И рассказала она мне, милостивые государи, такую повесть:

— Уснув, — говорит, — помолившись, не помню я сколько спала, но только вдруг вижу во сне пожар, большой пожар: будто у нас все погорело, и река золу несет, да в завертах около быков крутит и в глубь глотает, сосет. А самой насчет себя Михайлице кажется, будто она, выскочив в одной ветхой срачице, вся в дырках и стоит у самой воды, а против нее на том берегу стремится высокий красный столб, а на том столбе небольшой белый петух и все крыльями машет. Михайлица будто и говорит: «Кто ты такой?» потому что чувствами ей далось знать, что эта птица что-то предвещает. А петелок этот вдруг будто человеческим голосом возгласил: «Аминь», и сник, и его уже нет, а стала вокруг Михайлицы тишь, и такое в воздухе тощенье, что Михайлице страшно сделалось и продохнуть нечем, и она проснулась и лежит, а сама слышит, что под дверями у них барашек заблеял. И слышно ей по голосу, что это самый молодой барашек, с которого еще родимое руно не тронуто. Прозвенел он чистым серебряным голосочком «бя-я-я», и вдруг чует Михайлица, что он по молебной горнице ходит, копытками-то этак по половицам чок-чок-чок частенько перебирает и все будто кого ищет. Михайлица и рассуждает:

— Господи Иисусе Христе! Что это такое: овец у нас во всей нашей пришлои слободе нет и ягниться нечему, а откуда же это молозиво к нам забежало?

И в ту пору стренулася: — Да и как, мол, он в избу попал? Ведь это, значит, мы во вчерашней суете забыли со двора двери запереть: слава Богу, — думает, — что это еще агнец вскочил, а не пес со двора к святыне забрался. — Да и ну с этим Луку будить.

— Кирилыч, — кличет, — Кирилыч! Прокинься, голубчик, скорее, у нас дверь отворена и какое-с молозиво в избу вскочило, — а Лука Кирилов, как на сей грех, мертвым сном об'ят спит.

Как его Михайлица ни будит, никак не добудится: мычит он, а ничего не высловит. Что Михайлица еще жоще трясет и двигает, то он только громче мычит. Михайлица его и стала просить,

что «ты мол, имя-то Иисусово вспомяни», — но только-что она сама это имя выговорила, как в горнище кто-то завизжит, а Лука в ту же минуту сорвался с кровати и бросился-было впéред, но его вдруг посреди горницы как будто медяна стена отшибла.

— Дуй, баба, огонь! Дуй скорее огонь! — кричит он Михайлице, а сам ни с места. Та запалила свечку и выбегает, а он бледнолиц, как осужденный насмертник, и дрожит так, что не только гаплик на шее ходит, а даже остегны на ногах трясутся.

Баба опять до него: — Кормилец, — говорит, — что это с тобой? А он ей только показывает перстом, что там, где Ангел был, пустое место, а сам Ангел у Луки вскрай ног на полу лежит.

Лука Кирилов сейчас к Деду Марою и говорит: так и так, вот что моя баба видела и что у нас сделалось, поди посмотри. Марой пришел и стал на коленях перед лежащим на полу Ангелом и долго стоял над ним недвижимо, как измрамран надгробник, а потом, подняв руку, почесал остриженнос гуменцо на маковке и тихо молвил:

— Принесите сюда двенадцать чистых плинф нового обожженного кирпича.

Лука Кирилов сейчас это принее, а Марой осмотрел плинфы и видит, что все они чисты, прямо из огненного горна, и велел Луке класть их одна на другую, и возвели они таким способом столб, накрыли его чистою ширинкой, вознесли на него икону, и потом Марой, положив земной поклон, возгласил:

— Ангел Господень, да пролиются стопы твоя аможе хоцеме!

И только что он эти слова проговорил, как вдруг в двери стук-стук-стук и незнакомый голос зовет:

— Эй вы, раскольники: кто у вас тут набольший?

Лука Кирилов отворяет дверь и видит стоит солдат с медалью.

Лука спрашивает: какого ему надо набольшого? А он отвечает:

— Того самого, говорит, что к барыне ходил, которого Пименом звать.

Ну, Лука сейчас бабу за Пименом послал, а сам спрашивает: — Что такое за дело? На что его в ночи по Пимена послали?

Солдат говорит:

— Доподлинно не знаю, а слышно что-то там с барином жиды неловкое дело устроили.

А что такое именно, рассказать не может.

— Слыхал-де, — говорит, — как будто барин их запечатал, а они его запечатлели.

Но как это они друг друга запечатали — ничего вразумительно рассказать не может.

Тем временем подошел и Пимен, и сам, как жид, то туда, то

сюда вертит глазами: видно сам не знает, что сказать. А Лука говорит:

— Что же ты, шпильман ты этакий, стал, ступай теперь производи свое шпильманство в окончание!

Они вдвоем с солдатом сели в лодку и поехали.

Через час ворочается наш Пимен, будто бодр, а видно, что ему жесточе не по себе.

Лука его и допрашивает:

— Говори, — говорит, — говори лучше, ветрогон, все по откровенности, что ты там такое наделал?

А он говорит:

— Ничего.

Ну, так и осталось будто ничего, а совсем было не ничего.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

С барином, за которого наш Пимен молился, преудивительная штука совершилась. Он, как я вам докладывал, поехал в жидовский город и приехал туда поздно ночью, когда никто о нем не думал, да прямо все до одной лавки и опечатал, и дал знать полиции, что завтра утром с ревизией пойдет. Жиды это, разумеется, сейчас узнали и сейчас же ночью к нему, просить его, чтобы на сделку, знать того незаконного товара у них пропасть было. Пришли они и суют этому барину десять тысяч рублей. Он говорит: я не могу, я большой чиновник, доверием, облечен и взятки не беру; а жиды промеж себя гыр-гыр-гыр, да ему пятнадцать. Он опять «не могу»; они двадцать. Он, что же вы, говорит, не понимаете, что ли, что я не могу, я уже полиции дал знать, чтобы завтра вместе идти ревизовать. А они опять гыр-гыр, да и говорят:

— Ази-язи, васе сиятельство, то зи ничего зи, что вы дали знать в полицию, мы вам вот даем зи двадцать пять тысяч, а вы зи только дайте нам до утра вашу печатку и лозитесь себе спокойно поцивать: нам ничего больше не нужно.

Барин подумал-подумал: хотя он и большим лицом себя считал, а видно и у больших лиц сердце не камень, взял двадцать пять тысяч, а им дал свою печать, которою печатывал, и сам лег спать. Жидки, разумеется, ночью все что надо было из своих склепов повытаскали и опять их тою же самою печатью запечатали, и барин еще спит, а они уже у него в передней горгочат. Ну, он их впустил; они благодарят и говорят:

— А зи теперь зи, ваше высокоблагородие, пожалуйста с ревизией.

Ну, а он этого как будто не слышит, а говорит:

— Давайте же скорее мою печать.

А жидаы говорят:

— А давайте зи наши деньги.

Барин: «что? как?» А те на своем стали:

— Мы зи, — говорят, — деньги под залог оставляли.

Тот опять:

— Как под залог?

— А как зи, — говорят, — мы под залог.

— Врете, — говорит, — вы подлецы этакие, хриstopродавцы, вы мне совсем те деньги отдали.

А они друг друга поталкивают и смеются.

— Герш-ту, — говорят, — слышь, мы будто совсем дали ... Гм, гм! Ай вай: рази мы мозем быть такие глупые и совсем как мужики без политику, чтобы такому большому лицу хабара давать? — («Хабар» по-ихнему взятка.)

Ну-с, чего лучше этой истории можете себе вообразить? Господину бы этому, разумеется, отдать деньги, да и дело с концом, а он еще покапризничал, потому что жаль расстаться. Наступило утро; вся торговля в городе заперта; люди ходят, дивуются; полиция требует печати, а жидки орут:

— Ай вай, ну, что это такое за государственное правление! Это высокое начальство нас разорить желают.

Гвалт ужасный! Барин запершись сидит и до обеда чуть ума не решился, а к вечеру зовет тех хитрых жидков и говорит:

— Ну, берите, проклятые, свои деньги, только отдайте мне мою печать!

А те уже не хотят, говорят:

— А зи как же это можно! Мы весь город целый день не торговали: теперь нам с вашего благородия надо пятьдесят тысяч.

Видите, что пошло! А жидки грозят: — «Если нынче, говорят, пятьдесят тысяч не дадите, завтра еще двадцатью пятью тысячами больше будет стоить!» Барин всю ночь не спал, а к утру опять шлет за жидами, и все им деньги, которые с них взял, назад им отдал и еще на двадцать пять тысяч вексель написал, и прошел кое-как, с ревизией; ничего, разумеется, не нашел, да поскорее назад, да к жене и пред нею и рвет и мечет: где двадцать пять тысяч взять, чтоб у жидов вексель выкупить?

— Нужно, — говорит, — твою приданую деревнишку продать.

А та говорит:

— Ни за что на свете: я к ней привязана.

Он говорит:

— Это ты виновата, ты мне эту посылку с какими-то раскольниками вымолила и уверяла, что их Ангел мне поможет, а он между тем вот как мне славно помог.

А она отвечает:

— Что ты, — говорит, — сам виноват, зачем был глуп и тех жидов не арестовал, да не об'явил, что они у тебя печать украли, а между прочим, — говорит, — это ничего: ты только покоряйся мне, а уж я дело поправлю, и за твою нерассудительность другие заплатят.

И вдруг, на кого там случилось, крикнула-гаркнула: «сейчас, живо, говорит, с'ездить за Днепр и привезть мне раскольниковую старосту.» Ну, побол, разумеется, пошел и привез нашего Пимена, а барыня ему прямо без обинячки:

— Послушайте, — говорит, — я знаю, что вы умный человек и поймете, что мне нужно: с моим мужем случилась маленькая неприятность, его одни мерзавцы ограбили ... жида ... понимаете, и нам теперь непременно на сих же днях надо иметь двадцать пять тысяч и мне их так скоро достать ровно бы негде; но я пригласила вас и спокойна, потому что староверы люди умные и богатые, и вам, как я сама уверилась, во все сам Бог помогает, то вы мне, пожалуйста, дайте двадцать пять тысяч, а я с своей стороны зато всем дамам буду говорить о ваших чудотворных иконах, и вы увидите, сколько вы станете получать на воск и масло.

Без труда, чай, можете себе милостивые государи, представить, что наш шпильман при таком обороте восчувствовал? Не знаю уж какими словами, но только, верю я ему, он начал горячо ротиться и клястися, заверяя наше против такой суммы убожество, но она, эта обновленная Иродиада, и знать того не хотела.

— Нет, да мне, — говорит, — хорошо известно, что раскольники богачи, и для вас двадцать пять тысяч это вздор. Моему отцу, когда он в Москве служил, староверы не один раз и не такие одолжения делали; а двадцать пять тысяч это пустяки.

Пимен, разумеется, и тут попытался ей раз'яснить, что то, мол, московские староверы, люди капитальные, а мы простые нивари-чернорабочие, где же нам против москвичей отмогуществовать. Но она имела в себе верно хорошее московское научение и вдруг его осадила:

— Что вы, что вы, — говорит, — мне это рассказываете! Разве я не знаю сколько у вас чудотворных икон, и вы же мне сами ведь говорили, сколько вам со всей России на воск и на масло присылают? Нет, я и слышать не хочу; чтобы сейчас мне были деньги, а то мой муж нынче же к губернатору поедет и все

расскажет, как вы молитесь и соблазняете, и вам скверно будет.

Бедный Пимен как с крыльца не свалился; пришел домой, как я вам докладывал, и только одно слово твердит: «ничего», а сам весь красный точно из бани и все по углам ходил, нос сморкал. Ну, Лука Кирилов его, наконец, малое дело немножечко допросился, только, разумеется, не все он ему открыл, а самую лишь ничтожность сущности обнаружил, как-то говорит:

— С меня эта барыня требует, чтоб я у вас ей пять тысяч взаймы достал.

Ну, Лука, разумеется, и за это на него расхотелся:

— Ах, ты шпильман этакий — говорит; — нужно было тебе с ними знаться, да еще сюда их водить! Что мы богачи, что ли, какие, чтоб у нас такие деньги могли в сборе быть? Да и за что мы должны их дать? Да и где они? ... Как это заделывал, так и разделяйся, а нам пять тысяч взять негде.

С этим Лука Кирилов пошел в свою сторону на работу и пришел, как я вам доложил, бледный, вроде осужденного насмертника, потому что он, ночным событием искушенный, предвкусил, что это повлияет на нас неприятностью; а Пимен себе пошел в другую сторону. Все мы видели, как он из камышей в лодочке выплыл и на ту сторону в город переправился, и теперь, когда Михайлица все это мне по порядку рассказала, как он о пяти тысячах кучился, я и домекнул так, что верно он ударился ту барыню умиловать. В таком размышлении я стою возле Михайлицы да думаю, не может ли для нас из этого чего вредного воспоследовать и не надо ли против сего могущего произойти зла какие либо меры принять, как вдруг вижу, что все это предприятие уже поздно, потому что к берегу привалила большая ладья и я за самыми плечами у себя услышал шум многих голосов и, обернувшись, увидел несколько человек разных чиновников, примундиренных всяким подобием, и с ними не малое число жандармов и солдат. И не успели мы с Михайлицей, милостивые государи, глазом моргнуть, как все они мимо нас прямо в Лукину горницу повалили, а у двери двух часовых поставили с обнаженными саблями. Михайлица стала на тех часовых метаться, не столько для того, чтоб ее пропустили, а чтобы постраждовать; они ее, разумеется, стали отталкивать, а она еще ярее кидается, и дошло у них сражение до того, что один жандарм ее, наконец, больно зашиб, так что она с крыльца кубарем скатилась. А я ударился-было за Лукою на мост, но гляжу, сам Лука уже навстречу мне бежит, а за ним вся наша артель, все вскрамолились и кто с чем на работе был, кто с ломом, кто с мотыкою, все бегут свою святыню оберегать ... Кой не все в лодку попали и не на чем им до бережка достигнуть, во

всем платью, как стояли на работе, прямо с мосту в воду побросались и друг за дружкой в холодной волне плывут... Даже, не поверите, ужасно стало чем это кончится. Стражбы той приехало двадцать человек, и хотя все они в разных храбрых уборах, но а наших более полусот и все выпрению горячею верой одушевленные, и все они плывут по воде как тюленьки, и хоть их колотушкой по башкам бей, а они на берег к своей святыне достигают, и вдруг как были все, мокренькие и пошли вперед, что твое камение живо и несокрушимое.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Теперь, же вы извольте вспомнить, что когда мы с Михайлицей на крыльце разговаривали, в горнице находился на молитве дед Марой и господа чиновники со сбирюю своей там его застали. Он после и рассказывал, что как они вошли, сейчас дверь на захлопку и прямо кинулись к образам. Одни лампы гасят, а другие со стен рвут иконы да на полу накладывают, а на него кричат:

— Ты поп?

Он говорит: — Нет, не поп.

Они: — Кто же у вас поп?

А он отвечает: — У нас нет попа!

А они: — Как нет попа! Как ты смеешь это говорить, что нет попа!

Тут Марой стал им было об'яснять, что мы попа не имеем, да как он говорил-то скверно, шавкавил, так они, не разобравши в чем дело, да «связать, говорят, его под арест!» Марой дался себя связать: хоша то ему ничего не стоило, что десятский солдат ему обрывочком руки опутал, но он стоит и, все это за веру, приемля, смотрит, что далее будет. А чиновники тем временем зажгли свечи и ну иконы печатать: один печати накладывает, другие в описи пишут, а третьи буравами дыры сверлят, да на железный прут иконы как котелки нанизывают. Марой на все на это святотатственное безчиние смотрит и плечами не тряхнет, потому что рассуждает, что так, вероятно, это Богу изволился попустить такую дикость. Но в это-то время слышит дядя Марой: один жандарм вскрикнул, и за ним другой; дверь разлетелась и тюленьки-то наши как вылезли из воды мокрые, так и прут в горницу. Да по счастью их впереди их очутился Лука Кирилов. Он сразу крикнул:

— Стой, Христов народушко, не дерзничайте! — а сам к чиновникам и, указывая на эти пронзенные прутom иконы, молвит: — Для чего же это вы, господа начальство, так святыню повреждаете? Если вы право имеете ее у нас отобрать, то мы власти не сопротивники — отбирайте; но для чего же редкое отеческое художество повреждать?

А этой Пименовой знакомой барыньки муж, он тут главное всех был, как крикнет на дядю Луку:

— Цыть, мерзавец! еще рассуждать смеешь!

А Лука хоть и гордый был мужик, но смирил себя и тихо отвечает:

— Позвольте ваше высокоблагородие, мы этот порядок знаем, у нас здесь в горнице есть полтораستا икон, извольте вам по три рубля от иконы, и берите их, только предковского художества не повреждайте.

Барин оком сверкнул и громко крикнул:

— Прочь! — а шепотом шепнул: — Давай по сту рублей со штуки, иначе все выпеку.

Лука этакой силы денег дать и сообразить не мог и говорит:

— Бог с вами, если так: губите все как хотите, а у нас таких денег нет.

А барин как завопиет излиха:

— Ах ты козел бородатый, да как ты смел при нас о деньгах говорить? — и тут вдруг заметался, и все, что видел из божественных изображений, — в скибы собрал, и на концы прутьев гайки навернули и припечатывали, что-бы, значит, ни снять, ни обменять было невозможно. И все уже это было собрано и готово, они стали совсем выходить: солдаты взяли набранные на болты скибы икон на плечи и понесли к лодкам, а Михайлица, которая тоже за народом в горницу пробралась, тем часом тихонько скрала с аналогия ангельскую икону и тащит ее под платком в чулан, да как руки-то у нее дрожат, она ее и выронила. Батюшки мои, как барин расходился и звал нас и ворами-то, и мошенниками и говорит:

— Ага! вы, мошенники, хотели ее скрасть, чтоб она на болт не попала; ну, так она же на него не попадет, а я ее вот как, — да, накопивши сургучную палку, прямо как ткнет кипящею смолой с огнем в самый, ангельский лик!

Милостивые государи, вы на меня не посетуйте, что я и попробовать не могу описать вам, что тут произошло, когда барин излил кипящую смоляную струю на лик Ангела и еще, жестокий человек, поднял икону, чтобы похвастать как нашел досадить нам. Помню только, что пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлен, а из-под печати олифа, которая под огневою

смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз двумя потеками, как кровь, в слезе растворенная ...

Все мы ахнули и, закрыв руками глаза свои, пали ниц и застонали как на пытке. И так мы развопились, что и темная ночь застала нас воющих и голосащих по своему запечатленному Ангеле, и тут-то в сей тьме и тишине на разрушенной отчей святыне пришла нам мысль уследить, куда нашего хранителя денут, и поклялись мы скрасть его, хотя бы с опасностью жизни, и распечатлеть, а к исполнению сей решимости избрали меня, да молодого паренька Левонтия. Этот Левонтий годами был еще суший отрок, не более как семнадцать лет, но великотелесен, добр сердцем, богочтител с детства своего и послушлив и благонаправен, что твой ретив бел конь среброуздан.

Лучшего сомудренника и содеятеля и желать нельзя было на такое опасное дело, как проследить и исхитить запечатленного Ангела, ослепленное видение которого нам до немощи было непереносно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Не стану утруждать вас подробностями как мы с моим сомудренником и содейстителем, сквозь иглы уши лазучи, во все вникали, а буду прямо рассказывать о горести, которая овладела нами, когда мы узнали, что пробуравленные чиновниками иконы наши, как они были скибами на болты нанизаны, так их в консисторию в подвал и свалили; это уже дело пропащее и как в гроб погребенное, о них и думать было нечего. Приятно, однако, было то, что говорили, будто сам архиерей такой дикости соображения не одобрил, а, напротив, сказал: «К чему это?» и даже за старое художество заступился и сказал: «Это древнее, это надо беречь!» Но вот что худо было, что не прошла беда от непочтения, как новая, еще большая от сего почитателя возросла: сам этот архиерей, надо полагать, с нехудым, а именно с добрым вниманием взял нашего запечатленного Ангела и долго его рассматривал, а потом отвел в сторону взгляд и говорит: «Смятенный вид! Как ужасно его изнеявствовали! Не кладите, говорит, сей иконы в подвал, а поставте ее у меня в алтаре на окне за жертвенником.» Так слуги архиереевы, по его приказанию, и исполнили, и я должен вам сказать, что такое внимание со стороны церковного иерарха нам было, с одной стороны, очень приятно, но с другой — мы видели, что всякое намерение наше выкрасть своего Ангела стало невозможно. Оставалось другое

средство: подкупить слуг архиереевых и с их помощью подменить икону иным, в соответствие сей, хитро написанным подобием. В этом тоже наши староверы не раз успевали, но для сего прежде всего нужен искусный и опытной руки изограф, который бы мог сделать на подмену икону в точности, а такового изографа мы в тех местах не предвидели. И напала на нас на всех с этих пор сугубая тоска, и пошла она по нас как водный труд по за-кожью: в горнице, где одни словословия слышались, стали раздаваться одни вопли, и в недолгом же времени все мы развоплились даже до немощи и земли под собой от полных слезами очей не видим, а чрез то или не через это, только пошла у нас болезнь глаз и стала она весь народ перебирать. Просто чего никогда не было, то теперь сделалось; нет меры что больных! Во всем рабочем народе пошел толк, что все это не спроста, а за староверского Ангела: «его, бают, запечатлением ослепили, а теперь все мы слепнем», и таким толкованием не мы одни, а все и церковные люди вскрамолились и сколько хозяева-англичане ни привозили докторов, никто к ним не идет и лекарства не берет, а вопят одно:

— Принесите нам сюда запечатленного Ангела, мы ему молебствовать хотим, и один он нас исцелит.

Англичанин Яков Яковлевич, в это дело вникнув, сам поехал к архиерею и говорит:

— Так и так, ваше преосвященство, вера дело великое, и кто как верит, тому так по вере дается: отпустите к нам на тот берег запечатленного Ангела.

Но владыко сего не послушал и сказал:

— Сему не должно потворствовать.

Тогда нам это слово казалось быть жестокое, и мы архипастыря много суесловно осуждали, но впоследствии открылось нам, что все это велось не жестокостью, а Божиим смотрением.

Между тем знамения как бы не прекращались, и перст наказующий взыскал на том берегу самого главного всему этому делу виновника, самого Пимена, который после этой напасти от нас сбежал и вцерковился. Встречаю я его там один раз в городе, он мне и кланяется, ну, и я ему поклонился. А он и говорит:

— Согрешил я, брат Марк, придя с вами в разноебытие по вере.

А я отвечаю:

— Кому в какой вере быть — это дело Божие, а что ты бедного за сапоги продал, это, разумеется, нехорошо и, прости меня, а я тебя в том, как Аммос пророк велит, братски обличаю.

Он при имени пророка так и задрожал.

— Не говори, — говорит, — мне про пророков: я сам помню Писание и чувствую, что «пророки мучат живущих на земле»

и даже в том знамение имею, — и жалуется мне, что на-днях он выкупался в реке и у него после того по всему телу пегота пошла, и расстегнул грудь да показывает, а на нем точно пегинные пятна как на пегом коне, с груди вверх на шею лезут.

Грешный человек, было у меня на уме сказать ему, что «Бог шельму метит», но только сдал я это слово в устах и молвил:

— Что же, молись, — говорю, — и радуйся, что еще на сей земле так отитлован, авось на другом предстоянии чист будешь.

Он мне стал плакаться, сколь этим несчастен и чего лишается, если пегота на лицо пойдет, потому что сам губернатор, видя Пимена, когда его к церкви присоединяли, будто много на его красоту радовался и сказал городскому голове, чтобы когда будут через город важные особы проезжать, то чтобы Пимена непременно вперед всех с серебрянным блюдом выставить. Ну, а пегого уж куда же выставить? Но, однако, что мне было эту его ведиарскую суету и пустошество слушать, я завернулся да и ушел.

И с тем мы с ним расстались. На нем его титла все яснее обозначались, а у нас не умолкали другие знамения, в заключение коих, по осени, только что стал лед, как вдруг сделалась оттепель, весь этот лед разметало и пошло наши постройки коверкать, и до того шли вреда за вредами, что вдруг один гранитный бык подмыло, и пучина поглотила все возведение многих лет, стоившее многих тысяч...

Поразило это самих наших хозяев англичан, и было тут к их старшему Якову Яковлевичу от кого-то слово, что дабы ото всего этого избавиться, надо нас, староверов, прогнать, но как он был человек благой души, то он этого слова не послушал, а, напротив, призвал меня и Луку Кирилова и говорит:

— Дайте мне, ребята, сами совет: не могу ли я чем-нибудь вам помочь и вас утешить?

Но мы отвечали, что доколе священный для нас лик Ангела, везде нам предходившего, находится в огнесмольном запечатлении, мы ни чем не можем утешиться и истаеваем от жалости.

— Что же, — говорит, — вы думаете делать?

— Думаем, мол, его со временем подменить и распечатлеть его чистый лик, безбожною чиновническою рукою опаленный.

— Да чем, — говорит, — он вам так дорог, и неужели другого такого же нельзя достать?

— Дорог он, — отвечаем, — нам потому, что он нас хранил, а другого достать нельзя, потому что он писан в твердые времена благочестивою рукой и освящен древним иереем по полному требнику Петра Могилы, а ныне у нас ни иереев, ни того требника нет.

— А как, — говорит, — вы его распечатлеете когда у него все лицо сургучом выжжено?

— Ну, уж на этот счет, — отвечаем, — ваша милость не беспокойтесь: нам только бы его в свои руки достичь, а то он, наш хранитель, за себя постоит: он не торговых мастеров, а настоящего Строганова дела, а что строгановская, что костромская олифа так варены, что и огневого клейма не боятся и до нежных вап смолы не допустят.

— Вы в этом уверены?

— Уверены-с: эта олифа крепка, как сама старая русская вера.

Он тут ругнул кого знал, что этакого художества беречь не умеют, и руки нам подал и еще раз сказал:

— Ну, так не горюйте же: я ваш помощник, и мы вашего Ангела достанем. Надолго ли он вам нужен?

— Нет, — говорим, — на небольшое время.

— Ну, так я скажу, что хочу на вашего запечатленного Ангела богатую золотую ризу сделать, и как мне его дадут, мы его тут и подменим. Я завтра же за это возьмусь.

Мы благодарим, но говорим:

— Только ни завтра, ни послезавтра за это, сударь, не беритесь.

Он говорит:

— Это почему так?

А мы отвечаем:

— Потому, мол, сударь, что нам прежде всего надо иметь на подмен икону такую, чтоб она как две капли воды на настоящую походила, а таковых мастеров здесь нет, да и нигде вблизи не отыщется.

— Пустяки, — говорит, — я сам из города художника привезу; он не только копии, а и портреты великолепно пишет.

— Нет-с, — отвечаем, — вы этого не извольте делать, потому что, во-первых, через этого светского художника может ненадлежащая молва пойти, а во-вторых, живописец такого дела исполнить не может.

Англичанин не верит, а я выступил и раз'ясняю ему всю разницу: что ноне, мол, у светских художников не то искусство: у них краски масляные, а там вапы на яйце растворенные и нежные, в живописи письмо мазаное, чтобы только на даль натурально показывало, а тут письмо плавкое, и на самую близость явственно; да светскому художнику, говорю, и в переводе самого рисунка не потрафить, потому что они изучены представлять то, что в теле земного, животолубивого человека содержится, а в священной русской иконописи изображается тип лица небо-

жительный, насчет коего материальный человек даже истового воображения иметь не может.

Он этим заинтересовался и спрашивает:

— А где же, — говорит, — есть такие мастера, что еще этот особенный тип понимают?

— Очень, — докладываю, — они нынче редки (да и в то время они совсем жили под строгим сокрытием). Есть, — говорю, — в слободе Мстере один мастер Хохлов, да уже он человек очень древних лет, его в дальний путь везти нельзя: а в Палихове есть два человека, так те тоже вряд ли поедут, да и к тому же, — говорю, — нам ни мстерские, ни палиховские мастера и не годятся.

— Это опять почему? — пытается.

— А потому, — отвечаю, — что у них пошиб не тот: у мстерских рисуночек головастенок и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист, все голубинкой отдает.

— Так как же, — говорит, — быть?

— Сам, говорю, — не знаю. Наслышан я, что есть еще в Москве хороший мастер Силачев: и он по всей России между нашими именит, но он больше к новгородским и к царским московским письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка, самых светлых и рясных вап, так нам потрафить может один мастер Севастьян, с понизовья, но он страстный странствователь: по всей России ходит, староверам починку работает, и где его искать — неизвестно.

Англичанин с удовольствием все эти мои доклады выслушал и улыбнулся, а потом отвечает:

— Довольно дивные, — говорит, — вы люди, а как послушаешь вас, так даже приятно делается, как вы это все, что да вашей части касается, хорошо знаете и даже искусства можете постигать.

— Отчего же, — говорю, — сударь, искусства не постигать: это дело художество божественное, и у нас есть таковые любители из самых простых мужичков, что не только все школы, в чем, например, одна от другой отличаются в письмах: устюжские или новгородские, московские или вологодские, сибирские, либо строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских рукомесло одно от другого без ошибки отличаются.

— Может ли, — говорит, — это быть?

— Все равно — отвечаю, — как вы одного человека от другого письменный почерк пера распознаете, так и они: сейчас взглянут и видят кто изображал: Кузьма, Андрей или Прокофий.

— По каким приметам?

— А есть, — говорю, — разница в приеме как перевода рисунка, так и в плавии, в пробелах, лицевых движениях и в оживке.

Он все слушает; а я ему рассказываю, что знал про ушаковское писание и про рублевское, и про древнейшего русского художника Парамшина, коего рукомерла иконы наши благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали и в духовных своих наказывали им те иконы блюсти паче зеницы ока.

Англичанин сейчас выхватил свою записную книжку и спрашивает: повторить как художника имя, и где его работы можно видеть? А я отвечаю:

— Напрасно, сударь, станете отыскивать: нигде их памяти не осталось.

— Где же они делись?

— А не знаю, — говорю, — на чубуки ли повертели или немцам на табак променяли.

— Это, — говорит, — быть не может.

— Напротив, — отвечаю, — вполне статочно и примеры тому есть: в Риме у папы в Ватикане створы стоят, что наши русские изографы, Андрей, Сергей да Никита, в тринадцатом веке писали. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже, говорят, величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от чудного дела.

— А как она в Рим попала?

— Петр Первый иностранному монаху подарил, а тот продал.

Англичанин улыбнулся и задумался, и потом только молвил, что у них будто в Англии всякая картинка из рода в род сохраняется и тем сама явствует, кто от какого родословия происходит.

— Ну, а у нас, — говорю, — верно другое образование, и с предковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленное, как будто и весь род русский только вчера насадка под крапивой вывела.

— А если таковая, — говорит, — ваша образованная невежественность, так отчего же, в которых любовь к родному сохранилась, не позаботитесь поддержать своего природного художества?

— Некем, — отвечаю, — нам его, милостивый государь, подерживать, потому что в новых школах художества повсеместное растрепание чувства развито и суете ум повинует. Высокого вдохновения тип утрачен, а все с земного вземлется и земною страстию дышит. Наши новейшие художники начали с того, что архистратига Михаила с князя Потемкина Таврического стали изображать, а теперь уже того достигают, что Христа Спаса жидовином пижут. Чего же еще от таких людей ожидать? Их необрезанные сердца, может-быть, еще и не то изобразят и

ведя за божество почитать: в Египте же и быка и лук красноперый богом чтили; но только уже мы богам чуждым не поклонимся и жидово лицо за Спасов лик не примем, а даже изображения эти, сколь бы они ни были искусны, за студодейное невежество почитаем и отвращаемся от него, поелику есть, отчее предание, «что развлечение очес разоряет чистоту разума, яко водомет поврежденный погубляет воду».

Я сим кончил и замолчал, а англичанин говорит:

— Продолжай: мне нравится, как ты рассуждаешь.

Я отвечаю:

— Я уже все кончил.

А он говорит:

— Нет, ты расскажи мне еще, что вы по своему понятию за вдохновенное изображение понимаете?

Вопрос, милостивые государи, для простого человека довольно затруднительный, но я, нечего делать, начал и рассказал как писано в Нове-городе Звездное Небо, а потом стал излагать про киевское изображение в Софийском храме, где по сторонам Бога Саваофа стоят семь крылатых архистратигов, на Потемкина, разумеется, непохожих; а на порогах сени пророки и праотцы; ниже ступенью Моисей со скрижалию; еще ниже Аарон в митре и с жезлом прозябшим; на других ступенях царь Давид в венце, Исаия пророк с хартией, Иезекииль с затворенными вратами, Даниил с камнем, и вокруг сих предстоятелей, указующих путь на небо, изображены дарования, коими сего славного пути человек достигать может, как-то: книга с семью печатями — дар премудрости; седьмисвещный подсвечник — дар разума; семь очес — дар совета; семь трубных рогов — дар крепости; десная рука посреди семи звезд — дар видения; семь курильниц — дар благочестия; семь молний — дар страха Божия. — Вот, — говорю, — таковое изображение гореносно!

А англичанин отвечает:

— Прости меня, любезный: я тебя не понимаю, почему ты это считаешь гореносным?

— А потому, мол, что таковое изображение явственно душе говорит, чего христианину надлежит молить и жаждать, дабы от земли к неизреченной славе Бога вознестись.

— Да ведь это же, — говорит, — всякий из Писания и из молитв может уразуметь.

— Ну, никак нет, — отвечаю, — Писание не всякому дано разуметь, а неразумевающему и в молитве бывает затмение: иной слышит глашение о «великие и богатые милости» и сейчас полагает, что это о деньгах, и с алчностью кланяется. А когда он зрит пред собою изображенную небесную славу, то он

помышляет вышний prospect жизненности и понимает, как надо этой цели достигать, потому что тут оно все просто и вразумительно: вымоли человек первее всего душе своей дар страха Божия, она сейчас и пойдет облеченная со ступени на ступень, с каждым шагом усвая себе преизбытки вышних даров, и в те поры человеку и деньги, и вся слава земная при молитве кажутся не иначе как мерзость пред Господом.

Тут англичанин встает с места и весело говорит:

— А вы же, чудаки, чего себе молитесь?

— Мы, — отвечаю, — молим христианские кончины живота и доброго ответа на страшном судилище.

Он улыбнулся и вдруг дернул за золотистый шнурок зеленую занавесь, а за тою занавесью у него сидит в кресле его жена англичанка и пред свечью на длинных спицах вязанье делает. Она была дрекрасная барыня, благоуветливая, и хотя не много по-нашему говорила, но все понимала и верно хотелось ей наш разговор с ее мужем о религии слышать.

И что же вы думаете? Как отдернулась эта занавеса, что ее скрывала, она сейчас встает, будто содрогаясь, и идет, милушка, ко мне с Лукою, обе ручки нам, мужикам, протягивает, а в глазах у нее блещут слезки, и жмет нам руки, а сама говорит:

— Добри люди, добри русски люди!

Мы с Лукою за это ее доброе слово у нее обе ручки поцеловали, а она к нашим мужичьим головам свои губки приложила.

Рассказчик остановился и, закрыв рукавом глаза, тихонько отер их и молвил шопотом: «Трогательная женщина!» и затем, оправясь, продолжал снова:

— По таким своим ласковым поступкам и начала она, эта англичанка, говорить что-то такое своему мужу, по-ихнему, нам непонятно, но только слышно по голосу, что верно за нас просит. И англичанин — знать приятна ему эта доброта в жене — глядит, на нее ажно весь гордостию сияет и все жену по головке гладит, да этак как голубь гурчит по-своему: «гут, гут», или как там по-ихнему иначе говорится, но только видно, что он ее хвалит и в чем-то утверждает и потом подошел к бюру, вынул две сотенных бумажки и говорит:

— Вот тебе, Лука, деньги: ступай, ищи где знаешь какого вам нужно по вашей части искусного изографа, пусть он и вам что нужно сделает, и жене моей в вашем роде напишет, — она хочет такую икону сыну дать, а на все хлопоты и расходы вот это вам моя жена деньги дает.

А она сквозь слезы улыбается и частит:

— Ни, ни, ни: это он, а я особая, да с этим словом порх за дверь и несет оттуда в руках третью сотенную.

— Муж, — говорит, — мне на платье дарил, а я платья не хочу, а вам жертвую.

Мы, разумеется, стали отказываться, но она о том и слышать не хочет, и сама убежала, а он и говорит:

— Нет, — говорит, — не смейте ей отказывать и берите, что она дает, — и сам отвернулся и говорит, — и ступайте, чудаки, вон!

Но мы этим изгнанием, разумеется, нимало не обидились, потому что хоть он, этот англичанин, от нас отвернулся, но видели мы, что он это сделал ради того, дабы скрыть, что он сам растрогался.

Так-то нас, милостивые государи, свои люди обессудили, а аглицкая национальность утешила и дала в душу рвение, как бы точно мы баню паки бытия восприяли!

Теперь далее отсюда, милостивые государи, зачинается преположение моей повести, и я вам вкратце изложу: как я, взяв своего среброуздого Левонтия, пошел по изографа, и какие мы места исходили, каких людей видели, какие новые дивеса нам об'явились, и что, наконец, мы нашли, и что потеряли, и с чем возвратились.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В путь шествующему человеку первое дело спутник, с умным и добрым товарищем и холод, и голод легче, а мне это благо было даровано в том чудном отроке Левонтии. Мы с ним отправились пешком, имея при себе котомочки и достаточную сумму, а для охраны оной и своей жизни имели при себе старую короткую саблю с широким обушком, коя у нас всегда бѣреглась для опасного случая. Совершали мы путь свой в роде торговых людей, где как попало вымышляя надобности, для коих будто бы следуем, а сами все, разумеется, высматривали свое дело. С самого первоначала мы побывали в Клинцах и в Злынке, потом наведались кое к кому из своих в Орле, но полезного результата себе никакого не получили: нигде хороших изографов не находили, и так достигли Москвы. Но что скажу: оле тебе, Москва! оле тебе, древлего русского общества преславная царица! не били мы, старые верители, и тобою утешены.

Не охота бы говорить, а нельзя премолчать, не тот мы дух на Москве встретили, которого жаждали. Обрели мы, что старина тут стоит уже не на добротолубии и благочестии, а на едином

упрямстве, и с каждым днем, в сем все более и более убеждаясь, начали мы с Левонтием друг друга стыдиться, ибо видели оба то, что мирному последователю веры видеть оскорбительно; но, однако, сами себя стыдясь, мы о всем том друг другу молчали.

Изографы, разумеется, в Москве отыскиались и весьма искусные, но что в том пользы, когда все это люди не того духа, о каковом отеческие предания повествуют? Встарь благочестивые художники, принимаясь за священное художество, постились и молились и производили одинаково, что за большие деньги, что за малые, как того честь возвышенного дела требует. А эти — каждый одному пишет рефтью, а другому нефтью, на краткое время, а не в долготу дней, грунта кладут меловые, слабые, и не лебастровые, и плавь леностно сразу наводят, не как встарь наводили до четырех и даже до пяти плавей жидкой как вода краскою, отчего получалась та дивная нежность, ныне недосяжимая. И помимо неаккуратности в художестве, все они сами расслабевши, все друг перед другом величаются, а другого чтоб унижить ни во что вменяют; или еще того хуже, шайками совокупясь, сообщая хитрейшие обманы делают, собираются по трактирам и тут вино пьют и свое художество хвалят с кичливою надменностию, а другого рукомесло богохульно называют «адописным», а вокруг их всегда, как воробьи за совами, старьевщики, что разную иконописную старину из рук в руки перепускают, меняют, подменивают: подделывают доски, в трубах копят, утлизну в них делают и червоточину: из меди разные створы по старому чеканному образцу отливают, амаль в ветхозаветном роде наводят; купели из тазов куют и на них старинные щипаные орлы, какие за Грозного времена были, выставляют и продают неопытным верителям за настоящую грозновскую купель, хотя тех купелей не счесть сколько по Руси ходит, и все это обман и ложь бессовестные. Словом, сказать, все эти люди, как черные цыгане лошадьми друг друга обманывают, так и они святынею, и все это при таком с оною обращении, что становится за них стыдно и видишь во всем этом один грех да соблазн и вере поношение. Кто привычку к сему бесстыдству усвоил, тому еще ничего, и из московских охотников многие эту нечестною меню даже интересуются и хвалятся: что-де тот-то, того-то, так вот Деисусом надул, а этот этого вон как Николою огрел, или каким подлым манером поддельную Владычицу еще подсунул: и все это им заростно, и друг пред другим один против другого, лучше нарохтятся как Божиим благословением неопытных верителей морочить, но нам с Левою, как мы были простые деревенские богочтители, все это в той степени

непереносно показалось, что мы оба даже заскучили и напал на нас страх.

«Неужто же, думаем, такова она к этому времени стала наша злосчастная старая вера?» Но и я это думаю, и он, вижу, то же самое в скорбном сердце содержит, а друг другу того не отрываем, а только замечаю я, что мой отрок все ищет уединенного места.

Вот я раз гляжу на него, а сам думаю: как бы он в смущении чего недолжного не надумал? да и говорю:

— Что ты, Левонтий, будто чем закручинился?

А он отвечает:

— Нет, — говорит, — дядя, ничего; это я так.

— Пойдем же, мол, на Воженнинову улицу в Эриванский трактир изографов подговаривать. Ноне туда два обещали прийти и древних икон принести. Я уже одну выменял, хочу ноне еще одну достать.

А Левонтий отвечает:

— Нет, сходи ты, дядюшка, один, а я не пойду.

— Отчего же — говорю, — ты не пойдешь?

— А так, — отвечает, — мне ноне что-то не по себе.

Ну, я его раз не нужно и два не нужно, а на третий опять зову:

— Пойдем, Левонтьюшка, пойдем, молодчик.

А он умильно кланяется и просит:

— Нету, дядюшка, голубчик белый: позволь мне дома остаться.

— Да что же, мол, Лева, пошел ты мне в содеятели, а все дома да дома сидишь. Этак не велика мне, голубчик, от тебя помощь.

А он:

— Ну, родненький, ну, батечка, ну, Марк Александрыч, государь, не зови меня туда, где едят да пьют и нескладные речи о святине говорят, а то меня соблазн обдержать может.

Это его было первое сознательное слово о своих чувствах и оно меня в самое сердце поразило, но я с ним не стал спорить, а пошел один, и имел я в этот вечер большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное огорчение. Сказать страшно, что они со мною сделали! Один мне икону променял за сорок рублей и ушел, а другой говорит:

— Ты гляди, человеке, этой иконе не покланяйся.

Я говорю:

— Почему?

А он отвечает:

— Потому что она адописная, — да с этим колупнул ногтем, а с уголка слой письма так и отскочил и под ним на грунту чортик с хвостом нарисован! Он в другом месте скovyрнул письмо, а там под низом опять чортик.

— Господи! — заплакал я, — да что же это такое?

— А то, — говорит, — что ты не ему, а мне закажи.

И увидел уже я тут ясно, что они одна шайка и норовят со мною нехорошо поступить, не по чести, и, покинув им икону, ушел от них с полными слез глазами, славя Бога, что не видал того мой Левонтий, вера которого находилась в борении. Но только подхожу домой и вижу в окнах нашей горенки, которую мы нанимали, свету нет, а между тем, оттуда тонкое нежное пение льется. Я сейчас узнал, что это поет приятный Левонтьев голос и поет с таким чувством, что всякое слово будто в слезах купает. Вошел я тихонько, чтоб он не слышал, стал у дверей и слушаю, как он Иосифов плач выводит:

Кому повем печаль мою,
Кого призову ко рыданию.

Стих этот, если его изволите знать, и без того столь жалостный, что его спокойно слушать невозможно, а Левонтий его поет да сам плачет и рыдает, что

«Продаша мя мои братия!»

И плачет, и плачет он, воспевая, как видит гроб своей матери, и зовет землю к воплощению за братский грех! ...

Слова эти всегда могут человека взволновать, а особенно меня в ту пору, как я только бежал от братогрызцев; они меня так растрогали, что я и сам захлипал, а Левонтий, услышав это, смолк и зовет меня:

— Дядя! а дядя!

— Что, — говорю, — добрый молодец?

— А знаешь ли ты, — говорит, — кто это наша мать, про которую тут поется?

— Рахиль, — отвечаю.

— Нет, — говорит, — это в древности была Рахиль, а теперь это таинственно надо понимать.

— Как же, — спрашиваю. — таинственно?

— А так, — отвечает, — что это слово с преобразованием сказано.

— Ты, — говорю, — смотри, дитя: не опасно ли умствуешь?

— Нет, — отвечает: — я это в сердце моем чувствую, что крестует-бо-ся Спас нас ради того, что мы Его едиными усты и единым сердцем не ищем.

Я еще пуще испугался, к чему он стремится, и говорю:

— Знаешь что, Левонтьюшко: пойдем-ка мы отсюда скорее из Москвы в нижегородские земли, изографа Севастьяна поищем, он ноне, я слышал, там ходит.

— Что же: пойдем, — отвечает, — здесь на Москве меня какой-то нужный дух больно нудит, а там леса, поветрие чище

и там, — говорит, — я слышал, есть старец Памва, анахорит совсем беззавистный и безгневный, я бы его узреть хотел.

— Старец, Памва, — отвечаю со строгостию, — господствующей церкви слуга, что нам на него смотреть?

— А что же, — говорит, — за беда, я для того и хотел бы его видеть, дабы внять, какова господствующей церкви благодать.

Я его пощунял, «какая там, говорю, благодать», а сам чувствую, что он меня правее, потому что он жаждет испытывать, а я чего не ведаю, то отвергаю, но упорствую на своем противлении и говорю ему самые пустяки.

— Церковные; — говорю, — и на небо смотрят не с верою, а в Аристотилевы врата глядят и путь в море по звезде языческого бога Ремфана определяют; а ты с ними в одну точку смотреть захотел?

А Левонтий отвечает:

— Ты, дядя, баснишь: никакого бога Ремфана не было и нет, а вся единою Премудростию создано.

Я от этого слова еще глупее стал и говорю:

— Церковные кофий пьют!

— А что за беда, — отвечает Левонтий, — кофий боб, он был Давиду царю в дарах принесен.

— Откуда, — говорю, — ты это все знаешь?

— В книгах, — говорит, — читал.

— Ну, так знай же, что в книгах не все писано.

— А что, — говорит: — там еще не написано?

— Что? что не написано? — А сам вовсе уже не знаю, что сказать, да брякнул ему:

— Церковные, — говорю, — зайцев едят, а заяц поганый.

— Не погань, — говорит, — Богом созданного, это грех.

— Как, — говорю, — не поганить зайца, когда он поганый, когда у него ослий склад и мужеженское естество и он рождает в человеке густую и меланхолическую кровь?

Но Левонтий засмеялся и говорит:

— Спи, дядя, ты невеличался глаголешь?

Я, признаюсь, вам, тогда еще ясно не разгадал, что такое в душе сего благодатного юноши делалось, но сам очень обрадовался, что он больше говорить не хочет, ибо я и сам понимал, что я в сердцах не весть что говорю; и умолк я и лежу да только думаю:

«Нет; это в нем такое сомнение от тоски стало, а вот завтра поднимемся и пойдем, так оно все в нем рассеется»; но про всякий же случай я себе на уме положил, что буду с ним некое

время идти молча, дабы показать ему, что я как будто очень на него сержусь.

Но только в волевозвращном характере моем нет совсем этой крепости, чтобы притворяться сердитым, и мы скоро же опять начали с Левонтием говорить, но только не о Божестве, потому что он был сильно против меня начитавшись, а об окрестности, к чему ежечасный предлог подавали виды огромных темных лесов, которыми шел путь наш. Обо всем этом своим московском разговоре с Левонтием я старался позабыть и решил наблюдать только одну осторожность, чтобы нам с ним как-нибудь не набегать на этого старца Памву анахорита, которым Левонтий прельщался и о котором я сам слышал от церковных людей непостижимые чудеса про его высокую жизнь.

«Но, думаю себе, чего тут много печалиться, уж если я от него бежать стану, так он же сам нас не обретет!»

И идем мы опять мирно и благополучно, и, наконец, достигши известных пределов, добыли слух, что изограф Севастьян точно в здешних местах ходит, и пошли его искать из города в город, из села в село, и вот-вот совсем по его свежему следу идем, совсем его достигаем, а никак не достигнем. Просто как сворные псы бежим, по двадцати, по тридцати верст переходы без отдыха делаем, а придем, говорят:

— Был он здесь, был вот-вот всего с час назад ушел!

Бросимся вслед, не настаиваем!

И вот вдруг на одном таком переходе мы с Левонтием и заспорили: я говорю «нам надо идти направо», а он спорит: «налево», и, наконец, чуть было меня не переспорил, но я на своем пути настоял. Но только шли мы, шли, и, наконец, вижу, не знаю куда зашли и нет дальше ни тропы, ни следу.

Я говорю отроку:

— Пойдем, Лева, назад!

А он отвечает:

— Нет, не могу я, дядя, больше идти, сил моих нет.

Я всхлопотался и говорю:

— Что тебе, дитячко?

А он отвечает:

— Разве, — говорит, — ты не видишь, меня отрясовица бьет?

И вижу точно, весь он трясется и глаза блуждают. И как все это, милостивые государи, случилось вдруг! Ни на что не жаловался, шел бодро и вдруг сел в леску на траву, а головку положил на избутелый пенек и говорит:

— Ой, голова моя, голова! ай, горит моя голова огнем-пламенем! Не могу я идти: не могу больше шагу ступить! — а сам, бедняга, даже к земле клонится, падает.

А дело под вечер.

Ужасно я испугался, а пока мы тут подождали, не облегчит ли ему недуг, стала ночь; время осеннее, темное, место незнакомое, вокруг одни сосны и ели могучие, как аркефовы деревья, а отрок просто помирает. Что тут делать! Я ему со слезами говорю

— Левушка, батюшка, поневоляся, авось до ночлежка дойдем.

А он клонит головушку, как скошенный цветок, и словно во сне бредит:

— Не тронь меня, дядя Марко; не тронь и сам не бойся.

Я говорю:

— Помилуй, Лева, как не бояться в такой глуши непробудной.

А он говорит:

— Не спай и бдйя сохранит.

Я думаю: «Господи! что это с ним такое?» А сам в страхе все-таки стал прислушиваться, и слышу по лесу вдалеке что-то словно потрескивает . . . Владыко многомилостиве! думаю, это верно зверь, и сейчас он нас растерзает! И уже Левонтия не зову, потому что вижу, что он точно сам из себя куда-то излетел и витает, а только молюсь: Ангеле Христов, соблюди нас в сей страшный час! А треск-от ближе и ближе слышится, и вот-вот уже совсем подходит . . . Здесь я должен вам, господа, признаться в великой своей низости: так я оробел, что покинул больного Левонтия на том месте, где он лежал, да сам белки проворнее на дерево вскочил, вынул сабельку и сижу на суку да гляжу, что будет, а зубами, как пуганый волк, так и ляскаю . . . И вдруг-с замечаю я во тьме, к которой глаз мой пригляделся, что из лесу выходит что-то по началу совсем безвидное, — не разобрать, зверь или разбойник, но стал приглядываться и различаю, что и не зверь, и не разбойник, а очень небольшой старичек в колпачке, и видно мне даже, что в поясу у него топор заткнут, а на спине большая вязанка дров, и вышел он на поляночку; подышал, подышал часто воздухом, точно со всех сторон поветрие собирал, и вдруг сбросил на землю вязанку и, точно почуяв человека, идет прямо к моему товарищу. Подошел, нагнул, посмотрел в лицо и взял его за руку, да и говорит:

— Встань, брате!

И что же вы изволите думать? вижу я, поднял он Левонтия и ведет прямо к своей вязаночке и взвалил ее ему на плечи и говорит:

— Понеси-ко за мною!

А Левонтий и понес.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Можете себе, милостивые государи, представить, как я такого дива должен был испугаться! Откуда этот повелительный тихий старичек взялся и как это мой Лева сейчас точно смерти был привержен и головы не мог поднять, и опять сейчас уже вязанку дров несет!

Я скорее соскочил с дерева, сабельку на бечеве за спину забросил, а сломал про всякий случай здоровую леторосль понадежнее, да за ними, и скоро их настиг и вижу: старичек впереди грядет и как раз он точно такой же как мне с первого взгляда показался: малёнький и горбатенький; а борода по сторонам клочечками, как мыльная пена белая, а за ним мой Левонтий идет, следом в след его ноги бодро попадает и на меня смотрит. Сколько я к нему ни заговаривал и рукою его ни трогал, он и внимания на меня не обратил, а все будто во сне идет.

Тогда я подбежал сбоку к старичку и говорю:

— Добročестный человек!

А он отзывается:

— Что тебе?

— Куда ты нас ведешь?

— Я, — говорит, — никого никуда не веду, всех Господь ведет!

И с этим словом вдруг остановился: и я вижу, что пред нами низенькая стенка и ворота, а в воротах проделана малая дверка, и в эту дверку старичек начал стучаться и зовет:

— Брате Мирон! а брате Мирон!

А оттуда дерзый голос грубо отвечает:

— Опять ночью притащился. Ночуй в лесу! Не пушу!

Но старичек опять давай проситься, молить ласково:

— Впусти, брате!

Тот дерзый вдруг отчинил дверь, и вижу я это человек тоже в таком же колпаке, как и старичек, но только суровый-пресуровый грубиян, и не успел старичок ноги перенести через порог, как он его так толкнул, что тот мало не обрушился, и говорит:

— Спаси тебя Бог, брате мой, за твою услугу.

«Господи! помышляю, куда это мы попали», и вдруг как молния меня осветила и поразила.

«Спасе премилосердый!» взгадал я, «да уж это не Памва ли безгневный! Так лучше же бы, думаю, я в дебри лесной погиб или к зверю, или к разбойнику в берлогу зашел, чем к нему под кров.»

И чуть он ввел нас в маленькую какую-то хибарочку и зажег воску желтого свечу, я сейчас догадался, что мы, действительно, в лесном ските, и, не стерпев дальше, говорю:

— Прости, благочестивый человек, спрошу я тебя: гоже ли нам с товарищем оставаться здесь, куда ты привел нас?

А он отвечает:

— Вся Господня земля и благословенны вси живущие, — ложись спи!

— Нет, позволь, — говорю, — тебе об'явиться, ведь мы по старой вере.

— Все, — говорит, — уды единого тела Христова! Он всех соберет!

И с этим подвел нас к уголку, где у него на полу сделана скудная рогозина постелька, а в возглавии древесный кругляк соломкой прикрыт, и опять уже обоим нам молвит:

— Спите!

И что же? Левонтий мой, как послушенствующий отрок, сейчас и повалился, а я, свое опасение наблюдая, говорю:

— Прости, Божий человек, еще одно вопрошение ...

Он отвечает:

— Что вопрошать: Бог все знает.

— Нет, скажи, — говорю, — мне: как твое имя?

А он, как совсем бы ему не соответствовало, бабственною погудкою говорит:

— Зовут меня зовуткою, а величают уткою, — и с этими пустыми словами пополз было со свечечкою в какой-то малый чулан, тесный как дощатый гробик, но из-за стены на него тот дерзый вдруг опять закричал:

— Не смей огня жечь: келью сожжешь, по книжке днем намолишься, а теперь впотьмах молись!

— Не буду. — отвечает: — брате Мирон, не буду. Спаси тебя Бог!

И задул свечку.

Я шепчу:

— Отче! кто это на тебя так грубительно грозитя?

А он отвечает:

— Это служба мой, Мирон ... добрый человек, он блюдет меня.

«Ну, шабаш! думаю, это анахорит Памва! Никто это другой, как он, и беззавистный, и безгневный. Вот когда беда! обрящел он нас и теперь истлит нас как гангрена жир; одно только оставалось, чтобы завтра рано на заре восхитить отсюда Левонтия и бежать отсюда так, чтоб он не знал, где мы были.» Держа этот план, я положил не спать и блюсти первый просвет, чтобы возбудить отрока и бежать.

А чтобы не заснуть и не проспять, лежу да твержу: «Верую» как должно по-старому, и как протвержу раз, сейчас причитаю: «сия вера апостольская, сия вера кафолическая, сия вера все-

ленную утверди» и опять начинаю. Не знаю, сколько раз я эту «Верую» прочел, чтобы не заснуть, но только много; а старичок все в своем гробе молится, и мне оттуда сквозь пазы тесин точно свет кажет и видно как он кланяется, а потом вдруг будто начал слышаться разговор, и какой . . . самый необъяснимый, будто вошел к старцу Левонтий, и они говорят о вере, но без слов, а так смотрят друг на друга и понимают. И это долго мне так представлялось, я уже «Верую» позабыл твердить, а слушаю, как будто старец говорит отроку: «поди, очистись», а тот отвечает «и очищусь». И теперь вам не скажу, все это было во сне, или не во сне, но только я потом еще долго спал и, наконец, просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и оный старец, хозяин наш, анахорит сидит и свайкою лыковый лапоток на коленях ковыряет. Я стал в него всматриваться.

Ах, сколь хорош! ах, сколь духовен! Точно ангел предо мною сидит и лапотки плетет, для простого себя миру явления.

Гляжу я на него и вижу, что он на меня смотрит и улыбается, и говорит:

— Полно, Марк, спать, пора дело делать.

Я отзываюсь:

— Какое же, боготечный муж, мое дело? Или ты все знаешь?

— Знаю, — говорит, — знаю. Когда же человек далекий путь без дела творит? Все, брате, все пути Господнего ищут. Помогай Господь твоему смирению, помогай!

— Какое же, — говорю, — святой человек, мое смирение? — ты смирен, а мое что за смирение в суете!

А он отвечает:

— Ах, нет брате, нет, я не смирен: я великий дерзостник, я себе в небесном царстве части желаю.

И вдруг, сознав сие преступление, сложил ручки и, как малое дитя, заплакал.

— Господи! — молится, — не прогневайся на меня за сию волеверщенность: пошли меня в преисподнейший ад и повели демонам меня мучить, как я того достоин!

«Ну, думаю, нет: слава Богу, это не Памва прозорливый анахорит, а это просто какой-то умоповрежденный старец.» Рассудил я так потому, что кто же в здравом уме небесного царства может отрицаться и молить, дабы послал его Господь на мучение демонов? Я этакого хотения во всю жизнь ни от кого не слышал и, сочтя оное за безумие, отвратился от старцева плача, считая оный за скорбь демоноговойную. Но, наконец, рассуждаю: что же это я лежу, пора вставать, на только вдруг гляжу, отворяется дверь и входит мой Левонтий, про которого я точно совсем позабыл. И как он вошел, сейчас старцу в ноги и говорит:

— Я, отче, все совершил: теперь благослови!

А старец посмотрел на него и отвечает:

— Мир ти: почий!

И мой отрок, гляжу, опять ему в землю поклонился и вышел, а анахорит опять стал свой лапоток плестъ.

Тут я сразу вскочил и думаю:

«Нет: пойду скорее возьму Леву и утечем отсюда без оглядки!» и с тем выхожу в малые сенички и вижу, что мой отрок лежит тут на дощаной скамье без возглавия, навзничъ и ручки на груди сложил.

Я, чтобы не подать ему виду тревоги, гласно спрашиваю:

— Не знаешь ли ты, где я зачерпну себе воды, чтобы лицо умыть? — а шопотом шепчу ему: — Богом живым тебя заклинаю, скорее отсюда пойдем!

Но всматриваюсь в него и вижу, что Лева не дышит . . . Отошел! . . . Умер! . . .

Взвыл я не своим голосом:

— Памва! отец! Памва, ты убил моего отрока!

А Памва вышел потихоньку на порог и говорит с радостью:

— Улетел наш Лева!

Меня даже зло взяло.

— Да, — отвечаю сквозь слезы, — он улетел. Ты из него душу, как голубя из клетки, выпустил! — и повергшись к ногам усопшего, стонал я и плакал над ним даже до вечера, когда пришли из монастырька иноки, опрытали его мощи, положили в гроб и понесли. Так он сим утром, пока я нетяг спал, к церкви присоединился.

Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что бы я мог ему сказать: согрubi ему — он благословит, приберет его — он в землю поклонится, неодолим сей человек с таким смирением! Чего он устрашится, когда даже в ад сам просится? Нет; недаром я его трепетал и опасался, что истлит он нас, как гангрена жир. Он и демонов-то всех своим смирением из ада разгонит, или к Богу обратит! Они его станут мучить, а он будет просить: «жоще терзайте, ибо я того достоин.» Нет, нет! Этого смирения и сатане не выдержать! он все руки о него обколотит, все когти обдерет и сам свое бессилие постигнет пред Содетелем, такую любовь создавшим, и устыдится Его.

Так я себе и порешил, что сей старец с лапотком аду на побитель создан! и всю ночь по лесу бродючи, не знаю отчего вдаль не иду, а все думаю:

«Как же он молится, каким образом и по каким книгам?»

И вспоминаю, что я не видал у него ни одного образа, кроме креста из палочек, лычком связанного, да не видал и толстых книг . . .

«Господи! дерзаю рассуждать: если только в церкви два такие человека есть, то мы пропали, ибо сей весь любовью одушевлен.»

И все я о нем думал и думал и вдруг перед утром начал жаж-
дать хоть на минуту его, пред отхождом отсюда, видения.

И только что я это помыслил, вдруг опять слышу, опять такой
самый треск, и отец Памва опять выходит с топором и с вязан-
кою дров и говорит:

— Что долго медлил? Поспешай Вавилон строить?

Мне это слово показалось очень горько и я сказал:

— За что же ты меня, старче, таким словом упрекаешь: я ника-
кого Вавилона не строю и от вавилонской мерзости особлюсь.

А он отвечает:

— Что есть Вавилон? столп кичения; не кичись правдою, а то
Ангел отступится.

— Я говорю: отче, знаешь ли, зачем я хожу? — И рассказал
ему все наше горе. А он все слушал, слушал и отвечает:

— Ангел тих, Ангел кроток, во что ему повелит Господь, он
в то и одется; что ему укажет, то он сотворит. Вот Ангел! Он в
душе человеческой живет, сиемудрием запечатлен, но любовь со-
крушит печать ...

И с тем вижу он удаляется от меня, а я отворотить глаз от
него не могу и, преодолеть себя будучи не в состоянии, пал и
вслед ему в землю поклонился, а поднимая лицо и вижу, его уже
нет, или за древа зашел, или ... Господь знает куда делся.

Тут я стал перебирать в уме его слова, что такое: Ангел в
душе живет, но запечатлен, а любовь освободит его, да вдруг
думаю: «А что если он сам Ангел, и Бог повелит ему в ином
виде явиться мне: я умру как Левонтий!» Взгадав это, я, сам
не помню, на каком-то пеньке переплыл через речонку и уда-
рился бежать: шестьдесят верст без остановки ушел, все в страхе,
думая не Ангела ли я это видел, и вдруг захожу в одно село
и нахожу здесь изографа Севастьяна. Сразу мы с ним обо всем
переговорили и положили; чтобы завтра же ехать, но доладили
мы холодно и ехали еще холоднее. А почему? Раз потому, что
изограф Севастьян был человек задумчивый, а еще того более
потому, что сам я не тот стал: витал в душе моей анахорит
Памва, и уста шептали слова пророка Исаии, что «дух Божий
в ноздрях человека сего».

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Обратное подорожие мы с изографом Севастьяном отбыли
скоро и, прибыв к себе на постройку ночью, застали здесь все

благополучно. Повидавшись с своими, мы сейчас же появились к англичанину Якову Яковлевичу. Тот, любопытный этакой, сейчас же заинтересовался изюбркфм видеть и все ему на руки его смотрел да плечьми пожимал, потому что руки у Севастьяна были большущие как грабли и черные, поелику и сам он был видом как цыган черен. Яков Яковдевич и говорит:

— Удивляюсь я, братец, как ты такими ручищами можешь рисовать?

А Севастьян отвечает:

— Отчего же? Чем мои руки несоответственны?

— Да тебе, — говорит, — что-нибудь мелкое ими не вывести. Тот спрашивает:

— Почему?

— А потому, что гибкость состава перстов не позволит.

А Севастьян говорит:

— Это пустяки! Разве персты мои могут мне на что нибудь позволять или не позволять? Я им господин, а они мне слуги и мне повинуются.

Англичанин улыбается.

— Значит ты, — говорит, — нам запечатленного Ангела подве-
дешь?

— Отчего же, — отвечает, — я не из тех мастеров, которые дела боятся, а меня самого дело боится; так подведу, что и не отличите от настоящей.

— Хорошо, — молвил Яков Яковлевич, — мы немедля же станем стараться настоящую икону достать, а ты тем часом, чтоб уверить меня, докажи мне свое искусство: напиши ты моей жене икону в древне-русском роде и такую, чтоб ей нравилась.

— Какое же во-имя?

— А уж этого я, — говорит, — не знаю; что знаешь, то и напиши, это ей все равно, только чтобы нравилась.

Севастьян подумал и вопрошает:

— А о чем ваша супруга более Богу молится?

— Не знаю, — говорит, — друг мой; не знаю о чем, но, я думаю, вернее всего о детях, чтобы из детей честные люди вышли.

Севастьян опять подумал и отвечает:

— Хорошо-с, я и под этот вкус потрафлю.

— Как же ты потрафишь?

— Так изображу, что будет созерцательно и усугублению молитвенного духа супруги вашей благоприятно.

Англичанин велел ему дать все удобства у себя на вышке, но только Севастьян не стал там работать, а сел у окошечка на чердачке над Луки Кирилова горенкой и начал свою акцию.

И что же он, государи мои, сделал, чего мы и вообразить не

могли. Как шло дело о детях, то мы думали, что он изобразит Романа чудотворца, коему молятся от неплодия, или избиение младенцев в Иерусалиме, что всегда матерям, потерявшим чад, бывает приятно, ибо там Рахиль с ними плачет о детях и не хочет утешиться; но сей мудрый изограф, сообразив, что у англичанки дети есть и она льет молитву не о даровании их, а об оправдании их нравственности, взял и совсем иное написал, к целям ее еще более соответственное. Избрал он для сего старенькую самую небольшую досточку пядницу, то-есть в одну ручную пядь величины, и начал на ней талантовать. Прежде всего он ее, разумеется, добре вылевкасил крепким казанским алебастром, так что стал этот левкас гладок и крепок как слоно-вая кость, а потом разбил на ней четыре ровные места и в каждом месте обозначил особливую малую икону, да еще их стеснил тем, что промежду них на олифе золотом каймы положил, и стал писать: в первом месте написал Рождество Иоанна Предтечи, восемь фигур и новорожденное дитя, и палаты; во втором — Рождество Пресвятыя Владычицы Богородицы, шесть фигур и новорожденное дитя, и палаты; в третьем — Спасово Пречистое Рождество, и хлев, и ясли, и предстоящие Владычица и Иосиф, и припадшие боготечные волхвы, и Соломия баба, и скот всяким подобием: воны, овцы, козы и осли, и сухолапль птица, жидам запрещенная, коя пишется в означение, что идет сие не от жи-довства, а от Божества, все создавшего. А в четвертом отделении рождение Николая Угодника, и опять тут и святой угодник в младенчестве, и палаты, и многие предстоящие. И что тут было за смысл, чтобы видеть пред собою воспитателей столь добрых чад, и что за художество, все фигурки ростом в булавочку, а вся их одушевленность видна и движение. В богородничном рож-дестве, например, святая Анна, как по греческому подлиннику назначено, на одре лежит, пред нею девицы тимпанныцы стоят, и одни держат дары, а иные солнечник, иные же свечи. Едина жена держит святую Анну под плечи; Иоаким зрит в верхние палаты; баба святую Богородицу оmyвает в купели до пояса: посторонь девица льет из сосуда воду в купель. Палаты все разведены по циркулю, верхняя призелень, а нижняя бокал, и в этой нижней палате сидит Иоаким и Анна на престоле, и Анна держит Пресвятую Богородицу, а вокруг между палат столбы каменные, запоны червленные, а ограда бела и вохряна . . . Дивно, дивно все это Севастьян изобразил, и в премельчайшем каждом личике все богозрительство выразил и надписал образ «Доброчадие» и принес англичанам. Те глянули, стали разби-рать, да и руки врозь: никогда, говорят, такой фантазии не ожидали и такой тонкости мелкоскопического письма не слыхи-

вали, даже в мелкоскоп смотрят, и то никакой опшибки не находят, и дали они Севастьяну за икону двести рублей и говорят:

— Можешь ли ты еще мельче выразить?

Севастьян отвечает:

— Могу.

— Так скопируй мне, — говорит, — в перстень женин портрет.

Но Севастьян говорит:

— Нет, вот уж этого я не могу.

— А почему?

— А потому, — говорит, — что, во-первых, я этого искусства не пробовал, а повторительно, я не могу для него своего художества унизить, дабы отеческому осуждению не подпасть.

— Что за вздор такой?

— Никак нет, — отвечает, — это не вздор, а у нас есть отеческое постановление от благих времен, и в патриаршей грамоте подтверждается: «аще убо кто на таковое святое дело, еже есть иконное воображение, сподобится, то тому изрядного жительства изографу ничего, кроме святых икон, не писать!»

Яков Яковлевич говорит:

— А если я тебе пятьсот рублей дам за это?

— Хоть и пятьсот тысяч обещайте, все равно, при вас они останутся.

Англичанин просиял и шутя говорит жене.

— Как это тебе нравится, что он твое лицо писать считает для себя за унижение?

А сам ей по-аглички прибавляет: «ох, мол, гут карактер.» Но только молвил в конце:

— Смотрите же, братцы, теперь мы беремся все дело шабашить, а у вас, я вижу, на все свои правила, так чтобы не было упущено, или позабыто чего-нибудь такого, что всему помешать может.

Мы отвечаем, что ничего такого не предвидим.

— Ну, так смотрите, — говорит, — я начинаю, — и он поехал ко владыке с просьбою, что хочет-де он поусердствовать, на запечатленном Ангеле ризу позолотить и венец украсить. Владыко ему на это ни то, ни се: ни отказывает, ни приказывает; а Яков Яковлевич не отстаёт и помогает; а мы уже ждем, что порох огня.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

При сем позвольте вам, господа, напомнить, что с тех пор, как это дело началось, время прошло не мало, и на дворе стояло Спасово Рождество. Но вы не числите тамошнее Рождество наравне со здешним: там время бывает с капризцем, и один раз

справляет этот праздник по зимнему, а в другой раз не весть по какому: дождит, мокнет; один день слегка морозцем постынет, а на другой опять растворит; реку то ледком засалит, то вспучит и несет крыги как будто в весеннюю половодь... Одним словом, самое непостоянное время, и как по тамошнему месту зовется уже не погода, а просто халепа, так оно ей и пристало халепой быть.

В тот год, к коему рассказ мой клонит, непостоянство это было самое досадительное. Пока я вернулся с изографом, я не могу вам и перечислить, какое число раз наши то на зимнем, то на летнем положении себя поставляли. А время было, по работе глядя, самое горячее, потому что уже у нас все семь быков были готовы и с одного берега на другой цепи переносились. Хозяевам, разумеется, как можно скорее хотелось эти цепи соединить, чтобы на них к половодью хоть какой-нибудь временный мостик подвесить для доставки материала, но это не удалось: только цепи перетянули, жамкнул такой морозище, что мостить нельзя. Так и осталось; цепи одни висят, а моста нет. Зато создал Бог другой мост: река стала, и наш англичанин поехал по льду за Днепр хлопотать о нашей иконе и оттуда возвращается и говорит мне с Лукою:

— Завтра, — говорит, — ребята, ждите, я вам ваше сокровище привезу.

Господи, что только мы в эту пору почувствовали! Хотели было сначала таинствовать и одному изографу сказать, но утерпеть ли сердцу человеку! Вместо соблюдения тайности, обегли мы всех своих, во все окна постучали и все друг к другу шепчем, да не знать чего бегаем от избытка избе, благо ночь светлая, превосходная, мороз по снегу самоцветным камнем сыпит, а в чистом небе Еспер звезда горит.

Проведя в такой радостной беготне ночь, день мы встретили в том же восхищенном ождении, и с утра уже от своего изографа не отходим и не знаем, куда за ним его сапоги понести, потому что пришел, час, когда все зависит от его художества. Что только он скажет подать или принести, мы во всякий след вдесятером летим и так усердствуем, что один другого с ног валим. Даже дед Марой до той поры бегал, что, зацепившись, каблук оторвал. Один только сам изограф спокоен, потому что ему эти дела было уже не впервые делать, и потому он несуетно себе все приготавливал; яйцо кваском развел, олифу осмотрел, приготовил левкасный холстик, старенькие досточки, какие подхожие к величине иконы, разложил, настроил острую пилю, как струну, в излучине из крепкого обода, и сидит под окошечком, да какие предвидит нужными вапы пальцами в долони

перетирает. А мы все вымылись в печи, понадевали чистые рубашки и стоим на бережку, смотрим на град убежища, откуда должен к нам светоносный гость пожаловать; а сердца так то затрепещут, то падают ...

Ах, какие были мгновения, и длились они с ранней зари даже до вечера, и вдруг видим мы, что по льду от города англичанинов сани несутся и прямо к нам ... По всем трепет прошел, шапку все под ноги бросили и молимся.

— Боже Отец духовом и ангелом: пощади рабы Твои!

И с этим молением упали ниц на снег и вперед жадно руки простираем, и вдруг слышим над собою англичанинов голос:

— Эй, вы! Староверы! Вот вам привез! — и подает узелок в белом платочке.

Лука принял узелок и замер: чувствует, что это-то малое и легковесное! Раскрыл уголок платочка и видит: это одна басма с нашего Ангела сорвана, а самой иконы нет.

Кинулись мы к англичанину и говорим ему с плачем:

— Обманули вашу милость, тут иконы нет, а одна басма серебряная с нее прислана.

Но англичанин уже не тот, что был к нам до сего времени: верно досадило ему это долгое дело, и он крикнул на нас:

— Да что же вы все путаете! Вы же сами мне говорили, что надо ризу выпросить, я ее и выпросил: а вы, верно, просто не знаете, что вам нужно!

Мы ему, видя, что он восклокотал, с осторожностью было начали объяснять, что нам икона нужна, чтобы, подделок сделать, но он не стал нас более слушать, выгнал вон и одну милость показал, что велел изографа к нему послать.

Пошел к нему изограф Севастьян, а он точно таким же манером и на него с клокотанием.

— Твои, — говорит, — мужики сами не знают, чего хотят: то просили ризу, говорили, что тебе только надо размеры, да абрис снять, а теперь ревут, что это им ни к чему не нужно; но я более вам ничего сделать не могу, потому что архиерей образа не дает. Подделывай скорее образ, обложим его ризой и отдадим, а старый мне секретарь выкрадет.

Но Севастьян изограф, как человек рассудительный, обаял его мягкою речью и отвечает:

— Нет, — говорит, — ваша милость; наши мужички свое дело знают, и нам действительно, подлинная икона вперед нужна. Это, говорит, — только в обиду нам выдуманно, что мы будто по переводам, точно по трафаретам пишем. А у нас в подлиннике поставлен закон, но исполнение его дано свободному художеству. По подлиннику, например, повелено писать Святого Зосиму или

Герасима со львом, а не стеснена фантазия изографа как при них того льва изобразить? Святого Неофита указано с птицею голубем писать; Конона Градаря с цветком, Тимофея с ковчежцем, Георгия и Савву Стратилата с копьями, Фотия с корнавкой, а Кондрата с облаками, ибо он облака воспитывал, но всякий изограф волен это изобразить как ему фантазия его художества позволить, и потому опять не могу я знать, как тот Ангел писан, которого надо подменить.

Англичанин все это выслушал и выгнал Севастьяна как и нас, и нет от него никакого дальшего решения, и сидим мы, милостивые государи, над рекою, яко враны на нырище, и не знаем, вполне ли отчаиваться или еще чего ожидать, но идти к англичанину уже не смеем, а к тому же и погода стала опять единохарактерна нам: спустилась ужасная оттепель и засеял дождь, небо среди дня все яко дым коптильный, а ночи темнеющие, даже Еспер звезда, которая в декабре с тверди небесной не сходит, и та скрылась и ни разу не выглянет ... Тюрьма душевная, да и только! И таково наступило Спасово Рождество, а в самый сочельник ударил гром, полил ливень, и льет, и льет без уставу два дни и три дни: снег весь смыло и в реку снесло, а на реке лед начал синеть да пучиться, и вдруг его в предпоследний день года всперло и понесло ... Мчит его сверху и швыряет крыга на крыгу по мутной волне, у наших построек всю реку затерло: горой содит льдина на льдину и прядают они и сами звенят, прости Господи, точно демоны ... Как стоят постройки и этакое несподиванное теснение терпят, даже удивительно. Страшные миллионы могло разрушить, на нам не до того; потому что у нас изограф Севастьян, видя, что дела ему никакого нет, вскромолится, — складает пожитки и хочет в иные страны идти, и никак его удержать не можем.

Да не до того было и англичанину, потому что с ним за эту непогодь что-то такое поделалось, что он мало с ума не сошел: все, говорят, ходил да у всех спрашивал: «Куда деться? Куда деваться?» И потом вдруг преодолел себя как-то, призывает Луку и говорит:

— Знаешь, что, мужик: пойдем вашего Ангела красть?

Лука отвечает:

— Согласен.

По Луки замечанию было так, что англичанин точно будто жаждал испытать опасных деяний и положил так, что поедет он завтра в монастырь к епископу, возьмет с собою изографа под видом злотора и попросит ему икону Ангела показать, дабы он мог с нее обстоятельный перевод снять будто для ризы; а между тем как можно лучше в нее взглядится и дома напишет с нее

подделок. Затем, когда у настоящего злоторя риза будет готова, ее привезут к нам за реку, а Яков Яковлевич поедет опять в монастырь и скажет, что хочет архиерейское праздничное служение видеть и войдет в алтарь и станет в шинели в темном алтаре у жертвенника, где наша икона на окне бережется, и скрадет ее под полу и отдав человеку шинель, якобы от жары, велит ее вынести. А на дворе за церковью наш человек, чтобы сейчас из той шинели икону взял и летел с нею сюда на сей бок, и здесь изограф должен в продолжение времени, пока идет всенощная, старую икону со старой доски снять, а подделок вставить, ризой одеть и назад прислать, таким манером, чтобы Яков Яковлевич мог ее опять на окно поставить, как будто ничего не бывало.

— Что же-с? Мы, говорим, на все согласны!

— Только смотрите же, — говорит, — помните, что я стану на месте вора и хочу вам верить, что вы меня не выдадите.

Лука Кирилов отвечает:

— Мы, Яков Яковлевич, не того духа люди, чтоб обманывать благодетелей. — Я возьму икону и вам обе назад принесу, и настоящую и подделок.

— Ну, а если тебе что-нибудь помешает?

— Что же такое мне может помешать?

— Ну, вдруг ты умрешь или утонешь.

Лука думает: отчего бы, кажется, быть такому препятствию, а, впрочем, соображает, что, действительно, трафляется иногда и кладязь копающему обретаать сокровище, а идущему на торг встречать пса беснуема, и отвечает:

— На такой случай я, сударь, при вас такого своего человека оставлю, который, в случае моей неустойки, всю вину на себя примет и смерть претерпит, а не выдаст вас.

— А кто это такой человек, на которого ты так полагаешься?

— Ковач Марой, — отвечает Лука.

— Это старик?

— Да, он не молод.

— Но он, кажется, глуп?

— Нам, мол, его ум не надобен, но зато сей человек достойный дух имеет.

— Какой же, — говорит, — может быть дух у глупого человека?

— Дух, сударь, — отвечает Лука, — бывает не по разуму; дух иде же хочет дышит, и все равно, что волос растет у одного долгий и роскошный, а у другого скудный.

Англичанин подумал и говорит:

— Хорошо, хорошо: это все интересные ощущения. Ну, а как же он меня выручит, если я попадусь?

— А вот как, — отвечает Лука, — вы будете в церкви у окна стоять, а Марой станет под окном снаружи, и если я к концу службы с иконами не явлюсь, то он стекло разобьет и в окно полезет и всю вину на себя примет.

Это англичанину очень понравилось.

— Любопытно, — говорит, — любопытно! А почему я должен этому вашему глупому человеку с духом верить, что он сам не убежит?

— Ну, уж это мол, дело взаимодоверия.

— Взаимодоверия, повторяет ... — Гм, гм, взаимодоверия! Я за глупого мужика в каторгу, или он за меня под кнут? Гм, гм! Если он сдержит слово ... под кнут ... Это интересно.

Послали за Мароем и объяснили ему в чем дело, а он говорит:

— Ну так что же?

— А ты не убежишь? — говорит англичанин.

А Марой отвечает:

— Зачем?

— А чтобы тебя плетями не били, да в Сибирь не сослали.

А Марой говорит:

— Экося! — да больше и разговаривать не стал.

Англичанин так и радуется: весь ожил.

— Прелесть, — говорит, — как интересно.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сейчас же за этим переговором началась и акция. Навесили мы на утро большой хозяйский баркас и перевезли англичанина на городской берег: он там сел с изографом Севастьяном в коляску и покатил в монастырь, а через час с небольшим смотрим, бежит наш изограф и в руках у него листок с переводом иконы.

Спрашиваем:

— Видел ли, родной наш, и можешь ли теперь подделок потрафить?

— Видел, — отвечает, — и потрафлю, только разве как бы малость чем живее не сделал, но это не беда, когда икона сюда придет, я тогда в одну минуту яркость цвета усмирю.

— Батюшка, — молим его, — порадей!

— Ничего, — отвечает, — порадею!

И как мы его привезли, он сейчас сел за работу и к сумеркам у него на холстике поспел Ангел, две капли воды как наш запечатленный, только красками как будто немножко свежее.

К вечеру и злотарь новый оклад прислал, потому он еще прежде был по басме заказан.

Наступал самый опасный час нашего воровства.

Мы, разумеется, во всем изготовились и пред вечером помолились и ждем должного мгновения, и только что на том берегу в монастыре в первый колокол ко всенощной ударили, мы сели три человека в небольшую ладью: я, дед Марой, да дядя Лука. Дед Марой захватил с собою топор, долото, лом и веревку, чтобы больше на вора походить, и поплыли прямо под монастырскую ограду.

А сумерки в эту пору, разумеется, ранние, и ночь, несмотря на вселуние, стояла претемная, настоящая воровская.

Переехавши, Марой и Лука оставили меня под бережком в лодке, а сами покрались в монастырь. Я же весла в лодку забрал, а сам концом веревки зацепился и нетерпеливо жду, что-бы чуть Лука ногой в лодку ступит, сейчас плыть. Время мне ужасно долго казалось от томления, как все это выйдет и успеем ли мы все свое воровство покрыть, пока вечерня и всенощная пройдет? И кажется мне, что уже времени и не весть сколь много ушло; а темень страшная, ветер рвет, и вместо дождя, мокрый снег повалил, и лодку ветром стало поколыхивать, и я, лукавый раб, все мало-по-малу угреваясь в свитенке, начал дремать. Только вдруг в лодку толк и закачалось. Я встрепенулся и вижу в ней стоит дядя Лука и не своим передавленным голосом говорит:

— Гребите!

Я беру весла, да никак со страха в уключины не попаду. Насилу справился и отвалил от берега, да и спрашиваю:

— Добыли, дядя, Ангела?

— Со мной он, гребите мощней!

— Расскажи же, — пытаю, — как вы его достали?

— Непорочно достали как было сказано.

— А успеем ли назад взворотить?

— Должны успеть: еще только великий прокимен прокричали. Гребите! Куда ты гребешь?

Я оглянулся: ах ты Господи! и точно, я не туда гребу: все кажись как надлежит, впоперек течения держу, а нашей слободы нет, — это потому что снег и ветер такой что страх, и в глаза лепит, и вокруг ревет и качает, а сверху реки точно как льдом дышит.

Ну, однако, милостью Божиею мы доставились; соскочили оба с лодки и бегом побежали. Изограф уже готов: действует хладнокровно, но твердо: взял прежде икону в руки, а как народ перед нею упал и поклонился, то он подпустил всех познаме-

новаться с запечатленным ликом, а сам смотрит и на нее, и на свою подделку, и говорит:

— Хороша! только надо ее маленько гряздой с шафраном умирить! А потом взял икону с ребер в тиски и налячил свою пилку, что приправил в крутой обруч и ... пошла эта пилка порхать. Мы все стоим и того и смотрим, что повредит! Страсть-с! Можете себе вообразить, что ведь спиливал он ее этими своими махинными ручищами с доски тониною не толще как листок самой тонкой бумаги ... Долго ли тут до греха: то-есть вот на волос покриви пила, так лик и раздерет и насквозь выскочит! Но изограф Севастьян всю эту акцию совершал с такою холодною и искусством, что, глядя на него, с каждой минутой делалось мирней на душе. И точно спилил он изображение на тончайшем самом слое, потом в одну минуту этот спилок из краев вырезал, а края опять на ту же доску наклеил, а сам взял свою подделку скомкал, скомал ее в кулаке и ну ее трепать об край стола, и терхать в долонях, как будто рвал и погубить ее хотел, и, наконец, глянул сквозь холст на свет, а весь, этот новенький списочек как сито сделался в трещинках ... Тут Севастьян сейчас взял его и вклеил на старую доску в середину краев, а на долонь набрад какой знал темнокрасочной грязи, замесил ее пальцами со старою олифою и шафраном в роде замазки и ну все это долонью в тот потерханный списочек крепко-накрепко втирать ... Живо он все это свершал и вновь писанная икона стала совсем старая и как раз такая, как настоящая. Тут этот подделок в минуту проолифили и другие наши люди стали окладом ее одевать, а изограф вправил в приготовленную досточку настоящий выпилок и требует себе скорее лохмот старой поярковой шляпы.

Это начиналась самая трудная акция распечатления.

Подали изографу шляпу, а он ее сейчас перервал пополам на колене и, покрыв ею запечатленную икону, кричит:

— Давайте каленый утюг!

В печи, по его приказу, лежал в жару раскален тяжелый портяжий утюг.

Михайлица зацепила его и подает на ухвате, а Севастьян обернул ручку тряпкою, поплевал на утюг, да как дернет им по шляпному обрывку! ... От разу с этого войлока злой смрад повалил, а изограф еще раз, да еще им трет и враз отхватывает. Рука у него просто как молонья летает и дым от поярка уже столбом валит, а Севастьян знай печет: одной рукой поярочек по-малу поворачивает, а другою — утюгом действует, и все раз от разу неспешнее да сильней налегает, и вдруг отбросил и утюг, и поярок, и поднял к свету икону, а печати как не бывало:

крепкая строгановская олифа выдержала, и сургуч весь свелся, только чуть как будто красноогненная роса осталась на лице, но зато светлобожественный лик весь виден ...

Тут кто молится, кто плачет, кто руки изографу лезет целовать, а Лука Кирилов своего дела не забывает и, минутою дорожа, подает изографу его поддельную икону и говорит:

— Ну, кончай же скорей!

А тот отвечает:

— Моя акция кончена, я все сделал, за что брался.

— А печать наложить.

— Куда?

— А вот сюда этому новому Ангелу на лик, как у того было.

А Севастьян покачал головою и отвечает:

— Ну, нет, я не чиновник, чтоб этакое дело дерзнул сделать.

— Так как же нам теперь быть?

— А уже я, — говорит, — этого не знаю. Надо было вам на это чиновника или немца припасти, а упустили сих деятелей получить, так теперь сами делайте.

Лука говорит:

— Что ты это! да мы ни за что не дерзнем!

А изограф отвечает:

— И я не дерзну.

И идет у нас в эти краткие минуты такая сумятица, как вдруг влетает в избу Якова Яковлевича жена, вся бледная как смерть и говорит:

— Неужели вы еще не готовы?

Говорим: и готовы, и не готовы: важнейшее сделали, но ничтожного не можем.

А она немует по-своему:

— Что же вы ждете? Разве вы не слышите, что на дворе.

Мы прислушались и сами еще хуже ее побледнели: в своих заботах мы на погоду внимания не обращали, а теперь слышим гул! лед идет!

Выскочил я и вижу, он уже сплошной во всю реку прет, как зверье какое бешеное, крыга на крыгу скачет, друг на дружку так и прядают, и шумят, и ломаются.

Я, себя не помня, кинулся к лодкам, их ни одной нет: все унесло У меня во рту язык осметком стал, так что никак его не сомну, и ребро за ребро опустилось, точно я в землю ухожу ... Стою и не двигаюсь, и голоса не даю.

А пока мы тут во тьме мечемся, англичанка, оставшись там в избе одна с Михайлицей и узнав, в чем задержка, схватила икону и ... выскакивает с нею через минуту на крыльцо с фонарем и кричит:

— Натe, готово!

Мы глянули: у нового Ангела на лице печать!

Лука сейчас обе иконы за пазуху и кричит:

— Лодку!

Я открываюсь, что нет лодок, унесло.

А лед, я вам говорю, так табуном и валит, ломится об ледорезы и трясет мост так, что индо слышно, как эти цепи, на что толсты, в добрую половицу, а и то погромыхивают.

Англичака, как поняла это, всплеснула руками, да как взвизгнет нечеловеческим голосом: «Джемс!» и пала не живая.

А мы стоим и одно чувствуем:

— Где же наше слово? что теперь будет с англичанином? что будет с дедом Мароем?

А в это время в монастыре на колокольне зазвонили третий звон.

Дядя Лука вдруг встрепнулся и воскликнул к`англичанке:

— Очнись, государыня, муж твой цел будет, а разве только старого деда нашего Мароя ветхую кожу станет палач терзать и добротное лицо его клеймом обезчестит, но быть тому только разве после моей смерти! — и с этим словом прекрестился, выступил и пошел.

Я вскрикнул:

— Дядя Лука, куда ты? Левонтий погиб и ты погнбнешь! — да и кинулся за ним, чтоб удержать, но он поднял из-под ног весло, которое я, приехавши, на-земь бросил, и, замахнувшись на меня, крикнул:

— Прочь или на смерть ушибу!

Господа, довольно я пред вами в своем рассказе открыто себя малодушником признавал, как в то время, когда покойного отрока Левонтия на земле бросил, а сам на древо вскочил, но ей, право, говорю вам, что я бы тут не испугался весла и от дяди Луки бы не отступил, но ... угодно вам верьте, не угодно нет, а только в это мгновение не успел я имя Левонтия вспомнить, как промежду им и мною во тьме обрисовался отрок Левонтий и рукой погрозил. Этого страха я не выдержал и возринулся назад, а Лука стоит уже на конце цепи, и вдруг, утвердившись на ней ногою, молвит сквозь бурю:

— Заводи катавасию!

Головщик наш Арефа тут же стоял и сразу его послушал и ударил: «Отверзу уста», а другие подхватили, и мы катавасию кричим, буривою сопротивляясь, а Лука смертного страха не боится и по мостовой цепи идет. В одну минуту он один первый пролет перешел и на другой спускается ... А далее? далее об'яла его тьма, и не видно: идет он или уже упал и крыгами прокля-

тыми его в пучину забуровило, и не знаем мы: молить ли о его спасении или рыдать за упокой его твердой и любочестивой души?

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Теперь что же-с происходило на том берегу? Преосвященный владыко архиерей своим правилом в главной церкви всеошную совершал, ничего не зная, что у него в это время в приделе крали; наш англичанин, Яков Яковлевич, с его соизволения, стоял в соседнем приделе в алтаре и, скрав нашего Ангела, выслал его, как намеревался, из церкви в шинели, и Лука с ним помчался; а дед же Марой, свое слово наблюдая, остался под самым окном на дворе и ждет последней минуты, чтобы как Лука не возвратится, сейчас англичанин отступит, а Марой разобьет окно и полезет в церковь с ломом и с долотом, как настоящий злодей. Англичанин глаз с него не спускает и видит, что дед Марой исправен, стоит на своем послушании, и чуть заметит, что англичанин лицом к окну прилегает, чтобы его видеть, он сейчас кивает, что здесь, мол, я — ответный вор, здесь!

И оба таким образом друг другу свое благородство являют и не позволяют один другому себя во взаимовереии превозвысить, а к этим двум верам третья, еще сильнейшая движает, но только не знают они, что та третья вера творит. Но вот ударили в последний звон всеошной, англичанин и приотворил тихонько оконную форточку, чтобы Марой лез, а сам уже готов отступать, но вдруг видит, что дед Марой от него отворотился и не смотрит, а напряженно за реку глядит и твердословит:

— Перенеси Бог! перенеси Бог! перенеси Бог! — а потом вдруг как вспрыгнет и сам словно пьяный пляшет, а сам кричит; — Перенес Бог, перенес Бог.

Яков Яковлевич в величайшее отчаяние пришел, думает:

— Ну, конец: глупый старик помешался, и я погиб; — он смотрит, Марой с Лукою уже обнимаются.

Дед Марой шавчит:

— Я тебя назирал, как ты с фонарями по цепи шел.

А дядя Лука говорит:

— Со мною не было фонарей.

— Откуда же светение?

Лука отвечает:

— Я не знаю: я не видал светения, я только бегом бежал и не знаю, как перебег и не упал . . . точно меня кто под обе руки нес.

Марой говорит:

— Это Ангелы, — я их видел и зато я теперь не преполовлю дня и умру сегодня.

А Луке как некогда было много говорить, то деду он не отвечает, а скорее англичанину в форточку обе иконы подает. Но тот взял и кажет их назад.

— Что же, — говорит, — печати нет?

Лука говорит:

— Как нет?

— Да нет.

Ну, тут Лука перекрестился и говорит:

— Ну, конечно! Теперь некогда поправлять. Это чудо церковный Ангел совершил, и я знаю, к чему оно.

И сразу бросилея Лука в церковь, протеснился в алтарь, где владыку разоблачали, и пав ему в ноги, говорит:

— Так и так, я святотатец, и вот что сейчас совершил: велите меня оковать и в тюрьму посадить.

А владыка в меру чести своя все то выслушал и отвечает:

— Это тебе, должно быть, внушительно теперь, где вера действеннее: вы, — говорит, — плутовством с своего Ангела печать свели, а наш сам с себя ее снял и тебя сюда привел.

Дядя говорит:

— Вижу, владыко, и трепещу. Повели же отдать меня скорее на казнь.

А архиерей отвечает разрешительным словом:

— Властью, мне данною от Бога, прощаю и разрешаю тебя, чадо. Приготовься за утро принять Пречистое Тело Христово.

Ну, а дальше, господа, я думаю, нечего вам и рассказывать: Лука Кирилов и дед Марой утром возвращаются и говорят:

— Отцы и братие, мы видели славу Ангела господствующей церкви и все божественное о ней смотрение в добротолубии ее иерерха, и сами к оной освященным елеем примазались и Тела, и Крови Спаса сегодня за обеднею пробщались.

А я как давно, еще с гостинок у старца Памвы, имел влечение воедино одушевиться со всею Рүсью, воскликнул за всех:

— И мы за тобой, дядя Лука! — Да так все в одно стадо, под одного пастыря, как ягнятки, и подобрались, и едва лишь тут толькo поняли, к чему и куда всех наш запечатленный Ангел вел, пролия сначала свои стопы и потом распечатлевшись ради любви людей к людям, явленной в сию страшную ночь.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Рассказчик кончил. Слушатели еще молчали, но, наконец, один из них откашлянулся и заметил, что в истории этой все об'яснимо,

и сны Михайлицы, и видение, которое ей примерещилось в просонье, и падение Ангела, которого забеглая кошка или собака на пол столкнула, и смерть Левонтия, который болел еще ранее встречи с Памвою, объяснимы и все случайные совпадения слов говорящего какими-то загадками Памвы.

— Понятно и то, — добавил слушатель, — что Лука по цепи перешел с веслом: каменщики известные мастера где угодно ходить и лазить, а весло тот же балансир; понятно, пожалуй, и то, что Марой мог видеть около Луки светение, которое принял за ангелов. От большой напряженности сильно презыбшему человеку мало ли что могло зарядить в глазах? Я нашел бы понятным даже и то, если бы, например, Марой, по своему предсказанию не преполовя дня умер ...

— Да он и умер-с, — отозвался Марк.

— Прекрасно! И здесь ничего нет удивительного восьмидесятилетнему старику умереть после таких волнений и простуды; но вот, что для меня, действительно, совершенно необъяснимо: как могла исчезнуть печать с нового Ангела которого англичанка запечатала?

— Ну, а это уже самое простое-с, — весело отозвался Марк и рассказал, что они после этого вскоре же нашли эту печать между образом и ризою.

— Как же это могло случиться?

— А так: англичанка тоже не дерзнула ангельский лик портить, а сделала печать на бумажке и подвела ее под края оклада ... Оно это было очень умно и искусно ею устроено, но Лука как нес иконы, так они у него за пазухой шевелились и оттого печать и спала.

— Ну теперь, значит, и все дело просто и естественно.

— Да так и многие располагают, что все это случилось самым обыкновенным манером, и даже не только образованные господа, которым об этом известно, но и наша братия, в раздоре остающиеся, над нами смеются, что будто нас англичанка на бумажке под церковь подсунула. Но мы против таковых доводов не спорим: всяк как верит, так и да судит, а для нас все равно, какими путями Господь человека възыщет и из какого сосуда напоит, лишь бы възыскал и жажду единокровия его с отечеством утолил. А вон, мужички-вахлачки, уже вылезают из-под снега. Отдохнули, видно, сердечные, и сейчас поедут. Авось они и меня подвезут. Васильева ночка прошла. Утрудил я вас и много кое-где с собою выводил. С новым годом зато имею честь поздравить, и простите, Христа ради, меня невежу.

60
660

Approved by U.N.R.R.A. Team 186.

Пособие при изучении
образцов
русской литературы.
—
Ц. 6 м.